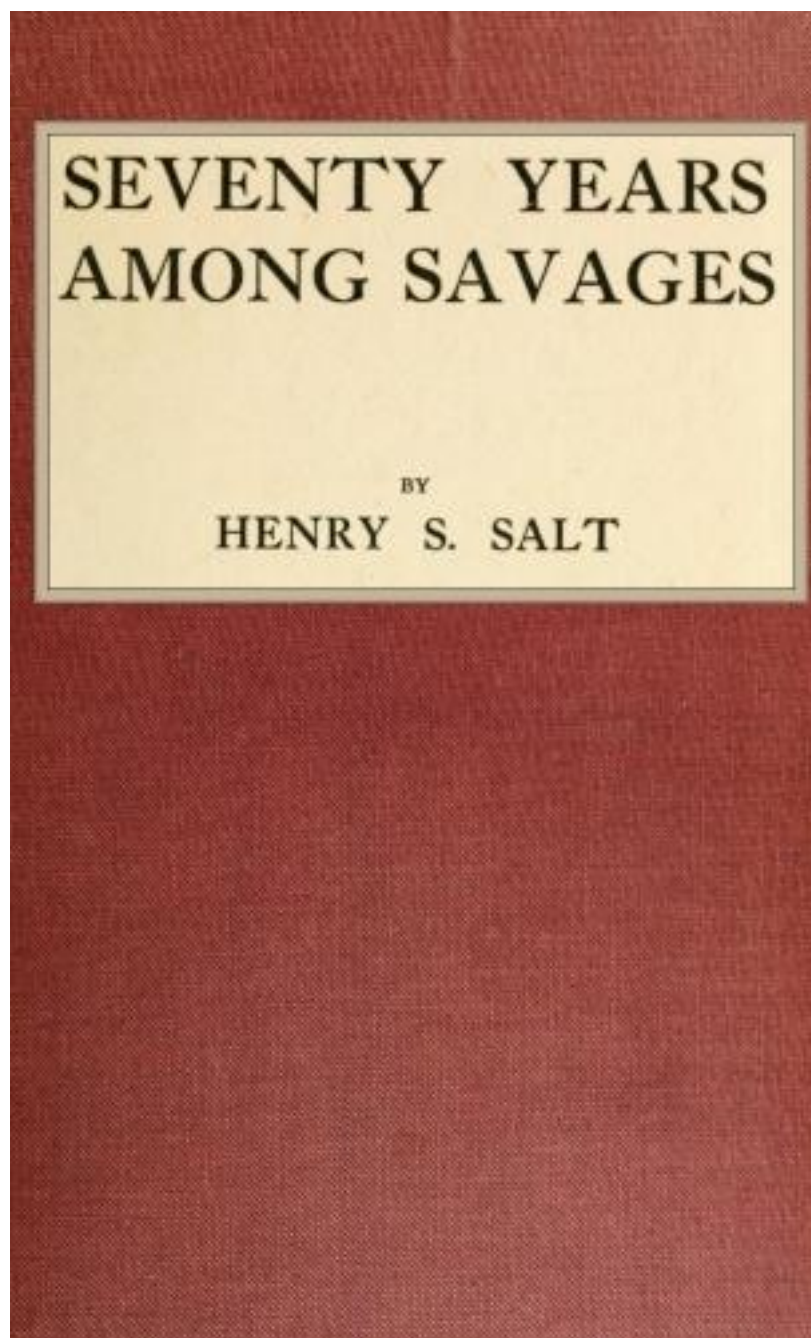


Семьдесят лет среди дикарей

Генри С. Солт



Электронная книга проекта Гутенберга о семидесяти годах среди дикарей

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Семьдесят лет среди дикарей

Автор: Генри С. Солт

Дата выхода: 30 июня 2015 г. [Электронная книга № 49336]

Последнее обновление: 24 октября 2024 г.

Язык: Английский

Кредиты: Подготовлено Яном-Фабианом Хуманном, Чаком Грейфом и командой онлайн-корректоров по адресу <http://www.pgdp.net> (Этот файл создан на основе изображений, щедро предоставленных интернет-архивом)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА "ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА ГУТЕНБЕРГА " СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ СРЕДИ ДИКАРЕЙ "

СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ СРЕДИ ДИКАРЕЙ

Были предприняты все попытки воспроизвести оригинал в том виде, в каком он был напечатан.

Исправлены некоторые типографские ошибки; [после текста следует список](#).

[Содержание](#).

[Указатель](#).

[Сноски](#).

(примечание переписчика текста)

СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ СРЕДИ ДИКАРЕЙ

ГЕНРИ С. СОЛТ



ЛОНДОН: GEORGE ALLEN & UNWIN LTD.
ДОМ РАСКИНА, МУЗЕУМ-СТРИТ, 40, W.C. 1

Впервые опубликовано в 1921 году

(Все права защищены.)

Содержание

	СТРАНИЦА
I. АРГУМЕНТ	7
II. ГДЕ НЕВЕЖЕСТВО БЫЛО БЛАЖЕНСТВОМ	16
III. НЕЛЮДИ	36
IV. ОТКРЫТИЕ	50
Против SOBECTИ KAHHИБАЛА	67
VI. ПРОБЛЕСКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ	73
VII. ПОЭТ-ПЕРВОПРОХОДЕЦ	90
VIII. ГОЛОСА ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ	101
IX. ЛИГА ГУМАHНОСТИ	121
X. ПЫТКИ ДВАДЦАТОГО ВЕКА	135
XI. ГУHНСКИЙ СПОРТ И МОДА	151
XII. ЗАБАВЫ ЧУДАКА	169
XIII. СЛЕДЫ КОПЫТ ВАНДАЛА	185
XIV. БЕЗНАДЕЖНАЯ НАДЕЖДА	200
XV. ПЕЩЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК ВОЗРОЖДАЕТСЯ	219
XVI. ПОЭЗИЯ СМЕРТИ И ЛЮБВИ	231
XVII. ТАЛИСМАН	239
ИНДЕКС: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Z	249

Семьдесят Лет Среди
дикарей

I

АРГУМЕНТ

Как странно быть выброшенным в мир варваров — Людей, которые достаточно ясно видят варварство всех эпох, кроме своей собственной!—Эрнест Кросби.

Рассказы путешественников, от Геродота до Марко Поло и от Марко Поло до современного “путешественника по миру”, во все века были предметом, справедливо или несправедливо, большого подозрения на том основании, что те, кто отправляется на поиски любопытной информации среди чужеземных племен, скорее всего, в первую очередь обманываются сами, а в дальнейшем - и их читатели. Однако к нижеследующей записи не может быть никаких сомнений, поскольку я сам являюсь уроженцем страны, обычаи которой я описываю. Я не думаю, что моя история, какой бы правдивой она ни была и допускающая подтверждение аналогичными свидетельствами других, является менее рискованной по этой причине; ибо, подобно предыдущим авторам, которые зафиксировали некоторые поразительные открытия, мне тоже приходится говорить об уединенности и отдаленности, обширных пустынях и редких оазисах, непроходимых лесах и разделяющих их заливах; и такие переживания тем не менее заслуживают внимания, потому что они происходят не с телом, а с разумом. Во всяком случае, история, которую я должен рассказать, касается происшествий, имевших для меня очень реальное значение — столь же реальных, как любое из тех, что рассказывают самые отважные путешественники.

Семьдесят лет, проведенных мной среди дикарей, составляют предмет этого рассказа, но, заметьте, не семьдесят летосознания того, что моя жизнь была так устроена, ибо в течение первой части моего пребывания в чужой стране, где я родился, я почти не подозревал об ужасной реальности моего окружения, разве что время от времени, возможно, в мимолетном проблеске дурного предчувствия. Затем, постепенно, инцидент за инцидентом приводили к постепенному пробуждению, пока, наконец, в моем уме не зародилось убеждение, которое единственное могло объяснить и примирить для меня многие противоречия нашего общества — что мы были не “цивилизованными”, а “дикарями” — что “темные века” отнюдь не были частью отдаленного прошлого, они были в буквальном смысле настоящим.

И здесь, в объяснение моей долгой слепоты к неприятной правде, следует отметить, что среди моих диких собратьев-островитян — и, действительно, среди всех окружающих народов — существует устойчивое и почти непреодолимое суеверие, что они - культурная и высокоцивилизованная раса, живущая в эпоху, полностью вышедшую из варварства их предков, в “старые добрые времена”, о которых некоторые из них даже делают вид, что вспоминают с чувством благочестивого сожаления. Именно это заблуждение, которому я

поначалу был полностью подвержен, так мешало мне видеть вещи в их истинном свете и до сих пор делает практически невозможным сообщать правду другим, за исключением тех, чьи подозрения были в такой же мере возбуждены. В действительности, как будет видно, разница между ранним “варварством” и более поздней так называемой “цивилизацией” заключается, в основном, всего лишь в отсутствии или присутствии определенных интеллектуальных усовершенствований и механических наук, которые, в значительной степени изменяя и усложняя внешние условия жизни, оставляют ее по сути своей дикий дух почти полностью нетронутым.

Только когда мне перевалило за тридцать, я почувствовал какое-либо серьезное беспокойство по поводу манер и обычаев, с которыми я был знаком и которые я с детства беспрекословно принимал как часть естественного порядка вещей. Я слышал и читал о “дикарях”, но испытывал еще большее удовлетворение, сознавая, что я уроженец страны, которая веками наслаждалась благами цивилизации и религии, которые стремилась распространить как можно шире по всей земле. Почему питание моих соотечественников должно было стать первым, о чем я задумался, я не могу сказать, поскольку, как убедили меня мои более поздние открытия, диетические привычки этих людей не более удивительны, чем многие родственные обычаи, к которым я все еще относился без недоверия. Но это было так; и тогда я обнаружил, что осознаю, с изумлением, которое не уменьшилось со временем, что “мясо”, составлявшее основу нашего рациона и к которому я привык относиться — как к хлебу, фруктам или овощам — просто как к столовому продукту, на самом деле было мертвой плотью — настоящей плотью и кровью — быков, овец, свиней и других животных, которые были забиты в огромных количествах в условиях, настолько ужасных, что даже упоминание этой темы за нашими обеденными столами было бы непростительным оскорблением.

Теперь, когда я начал задавать вопросы своим друзьям и знакомым об этой, по—видимому, вопиющей непоследовательности в нашей “цивилизации”, я не мог не заметить, хотя и был новичком в подобной дискуссии, что ответы, которыми они пытались парировать мои неуклюжие домогательства, были чрезвычайно уклончивыми и софистичными, напоминая мне о придирчивых объяснениях, которые путешественники получали от каннибалов, когда они слишком тщательно расспрашивали о некоторых диетических соблюдениях; и из этого я не мог не заподозрить, что в том, что касается питания, мы отличались только степенью от дикарей, которых мы считали столь униженный.

Однако следует понимать, что здесь и в других упоминаниях о “дикарях” я использую этот термин в его естественном и безобидном значении, подразумевая просто отсутствие высшей цивилизации, а не какую-либо личную жестокость или кровожадность. То, что я пишу, - это всего лишь дружеский рассказ о дружелюбных дикарях (написанный одним из них); и я хотел бы подчеркнуть тот факт, что доброта и добродушный нрав моих соотечественников с одной стороны являются столь же заметными чертами их характера, как и их дикость с другой. В их собственных семьях, по отношению к их собственным родственникам, к их личным друзьям — ко всем тем, кого судьба поместила в заколдованный круг общения, а не за его пределы, — их поведение в подавляющем большинстве случаев является образцовым; только там, где обычай или предрассудок прорыли пропасть разделения между их ближними и ими самими, они предаются варварским обычаям, о которых я говорю.

Возможно, будет удобно, если я здесь кратко расскажу о других их обычаях, разделенных на две части: во-первых, о тех, которые относятся к людям; и, во-вторых, о тех, которые относятся к так называемым низшим животным. Пожалуй, мало в чем варварство этих островитян проявляется так явно, как в их войнах и подготовке к войнам. Ибо то, что они называют “миром”, на самом деле является всего лишь вооруженным перемирием — интервалом между двумя вспышками враждебности, — во время которого они, столь далекие от того, чтобы пребывать в подлинном мире со своими соседями, заняты размышлениями о том, где будет нанесено следующее нападение, или, скорее (поскольку они любят изображать себя всегда стоящими на благочестивой самообороне от бессмысленной агрессивности других), как они отразят следующее нападение из-за границы. У них в обычае всегда иметь на время какое-нибудь пугало средисоседних племен, чьи предполагаемые махинации против более богатых частей их империи дают им постоянный повод для волнений и побуждают их укреплять бессмертные, но столь же преходящие союзы с другими народами, так что сама их дружба основана не столько на духе дружелюбия, сколько на духе недоверия. Под предлогом веры в невероятную и, по сути, совершенно нелепую максиму — *Si vis pacem, para bellum* (“Если вы хотите мира, готовьтесь к войне”) — они навсегда сосредоточили свои мысли на войнах и слухах о войнах, в результате чего несмотря на все их заявления о доброжелательности и братстве, ремесло *убивать* — это то, что они уважают превыше всего остального. Требуются ли деньги для целей национального благосостояния, таких как образование или помощь бедным? Сразу возникают все трудности на пути таких расходов на эти цели. Но пусть возникнет хоть малейшее подозрение, каким бы иррациональным оно ни было, в каком-то иностранном пренебрежении к “флагу”, и вряд ли найдется на острове дикарь, который не желал бы, чтобы государственная казна была опустошена в погоне за детской местью. Протестовать против такой глупости — значит навлечь на себя обвинение в “непатриотичности”.

Но какой бы комичной ни была их внешняя политика, их социальная система еще более комична, ибо под маской “благотворительности” и филантропии на самом деле существует гражданская война, в которой каждый индивид или группа индивидуумов играет в безжалостную игру “Разори ближнего” и “Черт возьми, самого заднего” в безумной борьбе за богатство; отсюда, конечно, возникает состояние грубого и вопиющего неравенства, при котором одни благодетельствованные люди купаются в благах жизни, в то время как другие проводят свои годы в крайней бедности. Таким образом, в должное время и с помощью безошибочного процесса создается то, что они называют “преступным классом”, то есть сонмом тех, кого социальная несправедливость толкает к преступлению вне закона и насилию. И в этом, возможно, больше, чем в каких-либо других их обычаях, проявляется врожденная дикость их натуры, ибо вместо попыток искоренить *причину* этого зла путем установления более справедливого образа жизни, мои собратья-островитяне почти поголовно выступают за “наказание” (таково выражение) этих жертв их собственных глупых законов путем вынесения варварских приговоров в виде тюремного заключения, или порки плетью, или, в крайних случаях, виселицы. Чтобы привить человеку привычку к честности, они сажают человека в тюрьму и делают его более чем когда-либо неспособным честно зарабатывать на жизнь. В качестве предупреждения против грабежа с применением насилия они преподают урок должностного насилия, подвергая преступника порке; и, чтобы научить святости человеческой жизни, они предают убийцу суду. Многие гротескные нелепости торжественно и намеренно разыгрываются в их так называемых “судах общей юрисдикции”; и любой, кто осмеливается предположить, что это так, считается глупцом и нечестивцем за свои старания.

Но именно когда мы обращаемся к их обращению с нечеловеческими расами, мы обнаруживаем самые верные свидетельства варварства; однако их дикость даже здесь не является полностью “обнаженной и бесстыдной”, ибо, как ни странно, этим любопытным людям нравится маскировать свою грубость под покровом ошибок и софизмов и представлять себя “любителями” тех самых существ, которых они обычно мучают ради “развлечения”, “науки” и “стола”. У них действительно есть закон о предотвращении жестокого обращения с животными, в соответствии с которым определенные привилегированные виды, классифицируемые как “домашние”, защищены от некоторых определенных видов вреда, хотя при определенных условиях они могут безнаказанно подвергаться другим, более серьезным травмам от рук палача или вивисектора; в то время как дикие виды, хотя и предположительно не менее чувствительны к боли, рассматриваются почти полностью вне сферы защиты и как законные объекты для тех жестокостей “моды” и “спорта”, которые характерны для дикого ума. Их женщины одеваются в меха и перья из шкур зверей и птиц; и их шляпки настолько смертоносны, что целые виды приносятся в жертву этой безрассудной привычке. Ничто не может сравниться с жестокостью национальных забав, в которых под предлогом предоставления полезных упражнений своим мучителям выведенных в парке оленей, которых для этой цели держали в загонах, выставляют перед толпой людей и собак на травлю и беспокойство; на лис, выдр и зайцев охотятся и “разделяют”; загнанных в мешки кроликов “гоняют” в маленьких вольерах оружие дикари накануне еженедельного религиозного праздника; фазанов и других “законсервированных” птиц косят. гибнут тысячами на организованной бойне, эвфемистически известной как *битва*; голубей выпускают из ловушек, чтобы их подстрелили банды головорезов, которые ставят на кон результат своего мастерства; и почти все мыслимые формы трусливого забоя практикуются как “спортивные” и восхваляются как “мужественные”. Более того, все это делается на глазах и по примеру простых юношей и детей, которых таким образом с самых нежных лет прививают привычку быть безжалостными и жестокими. Более того, в некоторых случаях их даже поощряют принимать участие в подобных мероприятиях, и в первый раз, когда они оказываются “на пороге смерти”, их посвящают в “окровавленные”, то есть крестят кровью зарезанной жертвы их развлечения.

И, возможно, все это не так странно, как может показаться на первый взгляд, ибо, несмотря на свои хваленые успехи в науках и искусствах, мои соотечественники все еще практически ничего не знают о реальном родстве, существующем между человечеством и другими расами, и об обязанностях, которые это родство подразумевает. Они все еще являются жертвами того старого антропоцентрического суеверия, которое представляет Человека центром вселенной и отделено от низших животных — всего лишь игрушек, созданных для его августейшего удовольствия — глубокой пропастью; и вполне вероятно, что если бы кому-нибудь из этих бездумных дикарей, которые “разделяют” зайца или крестят своих детей в крови зарезанной лисицы, напомнили, что он сам на самом деле “животное”, он возмутился бы такому утверждению установленного факта как пренебрежению к его религиозным убеждениям и его нравственности. личное самоуважение. Ибо, как обнаружил автор *Hudibras*:

Нет ничего более абсурдного, или тщеславного,
Или варварского, или бесчеловечного,
Но если это имеет малейшее отношение
К набожности и благочестию,
И исповедуется рвение к евангельским истинам,

Мгновенно начинается святость.

Сами ученые, которые теоретически отказались от старомодной идеи о вселенной, созданной для человечества, на практике склонны опровергать свою собственную биологическую веру, поскольку они заявляют о моральном праве без зазрения совести подвергать большое количество низших животных пыткам “исследования”, точно так же, как если бы факт близкого родства между вивисектором, орудующим скальпелем, и собакой, лежащей в кормушке, был понятием, о котором наука не подозревает!

Удивительно ли, что для тех из нас, кто постепенно осознал, что мы живем в дикой стране среди таких же дикарей, как эти, осознание этого открытия должно временами приносить с собой чувство невыразимого одиночества и опустошенности — что мы должны чувствовать себя, так сказать, отрезанными бесконечными лигами непонимания от всякого человеческого общения и от всякой возможности выразить себя? Чем можно привлечь людей, чей первый инстинкт, при виде красивого животного, полного радости и жизненных сил, заключается в том, чтобы поохотиться на него или съесть? Можно только поражаться, как такое явное, необузданное варварство дошло до нас из прошлого.

Но факты, хотя и столь ужасные по своему первому впечатлению, заслуживают более обнадеживающего отношения; существует как утешительный, так и неприятный способ их толкования. Ибо, если эти наши соотечественники действительно дикари (в чем кто может сомневаться?), разве у нас нет, по крайней мере, оснований радоваться тому, что, будучи дикарями, они во многих отношениях ведут себя так сдержанно и что, насколько простирается их чувство родства, они такие цивилизованные, такие добрые, такие законопослушные? Поэтому вместо того, чтобы слишком громко упрекать их за охоту или поедание своих маленьких собратьев, животных, не должны ли мы, возможно, почувствовать и выразить им некоторую благодарность за то, что они не охотятся друг на друга — за то, что они не съели нас? Их самоограничение во многих областях, возможно, столь же примечательно, как и их самоотверженность в других; и сам факт того, что кто-то *прожил* много лет среди дикарей, сам по себе свидетельствует об их добром нраве. Если рассматривать их в этом свете, проблема не столько в том, что они на самом деле дикари, сколько в том, что они воображают себя цивилизованными; ибо именно из-за ложного одеяния цивилизации возникло неправильное понимание.

Но, как бы то ни было, они, когда о них говорят самое худшее, странный и интересный народ, и я искренне желаю, чтобы публикацией этого рассказа я смог привлечь к привычкам моих соотечественников-островитян более пристальное внимание антропологов. Несомненно, в эпоху, когда многие дикие племена были предметом научных дискуссий и миссионерских начинаний, желательно, чтобы раса, которая пронесла в двадцатый век описанные мной примитивные обычаи, подверглась критическому и исчерпывающему изучению. Если таков действительно будет результат этой книги, я буду более чем вознагражден за ту боль, которую, возможно, испытал, описывая эти странные, но достоверно описанные переживания.

ГДЕ НЕВЕЖЕСТВО БЫЛО БЛАЖЕНСТВОМ

Мысль разрушила бы их рай!

Хватит: там, где невежество - блаженство,

Глупо быть мудрым.

Ода Грею Далекой перспективе Итонского колледжа.

ЕСЛИ верно, как говорят нам ученые, что период отрочества соответствует в развитии человека ранней фазе дикости, и что отдельный мальчик сам является воплощением нецивилизованного племени, то с еще большей уверенностью можно сказать, что английская государственная школа, или “ферма для мальчиков”, где жизнь в основном устроена так, что способствует развитию более примитивных привычек ума, по сути, является рассадником варварства - микрокосмом того хищнического класса, члены которого, подобно охотникам древности, не трудятся, не прядут, но всегда ищут работу. их идеал — двойной культ спорта и солдатства. Безусловно, Итон шестидесятых и семидесятых годов, какую бы внешнюю видимость образованности и утонченности он ни производил, в глубине души был оплотом дикости — самой грациозной, непринужденной дикости, следует признать; ибо дикари, как мы знаем, часто бывают очень приятными людьми.

В книге "Некоторые воспоминания", *"Итон под руководством Хорнби"*, опубликованной в 1910 году, я дал описание образования в государственных школах пятидесятилетней давности, системы, вероятно, не намного худшей, чем нынешняя; и пришел к выводу, что, поскольку Итон на самом деле никогда не меняется, лучше относиться к ней, как она относится к другим учебным заведениям, с добродушным безразличием и не столько как к предмету для споров, сколько как к анекдоту. Итон был прежде всего школой, “где невежество - блаженство”, причем в гораздо более широком смысле, чем тот, который подразумевал поэт Грей в своей знаменитой оде “О далекой перспективе Итонского колледжа”. Ибо, если по отношению к школьникам верно, что “мысль разрушила бы их рай” — то есть мысль просто о личных недугах зрелого возраста, — то насколько более тревожным было бы размышление об огромных социальных несправедливостях, которые наполняют мир страданиями! О таких мрачных мыслях Итон ничего не знала, но наслаждалась теплом собственного высшего самодовольства; и итонская жизнь была, вероятно, самой приятной из всех до сих пор изобретенных форм беззаботного существования. Итак, я хотел бы поговорить об удовольствиях Итона и о некоторых наиболее выдающихся из ее сыновей, с которыми я имел честь быть знакомым.

Задолго до того, как я был принят в Итон в качестве королевского стипендиата, у меня была личная связь со школой благодаря тому факту, что Джон Моултри, друг Прейда и автор самого примечательного школьного журнала *"Итониан"*, который сам был коллегой в Итоне с 1811 по 1819 год, был моим двоюродным дедушкой. В Итоне и Кембридже карьера Моултри была блестящей; он был “Джерардом Монтомгери” *итонца* — по словам Прейда, “юмористическим Моултри и патетическим Моултри, Моултри из ‘Годивы’ и Моултри из ‘Могилы моего брата’”, — но его дальнейшая карьера не оправдала надежд его юности. Яркая и экстравагантная фантазия его ранних стихотворений сменилась более домашним и трезвым стилем, и поэт-пастор в своей “Мечте о жизни” даже извиняющимся тоном сослался на легкомыслие своей

юной музы.^[1] Тем не менее, он все еще в какой-то мере сохранял видение поэта; и когда он был ректором Регби, он был известен мощной интерпретацией, которую он дал Шекспиру в своем чтении пьес. Я помню его в доме священника в начале шестидесятых, достойного, доброго старика, в его манерах была причудливая смесь юмора и пафоса, грубости и мягкости. В Регби ходило много историй о его эксцентричности и рассеянности; говорят, что однажды, когда он завершил длинную проповедь, он поразил свою паству, заменив обычную формулу не менее знакомой формулой после обеда: “За то, что мы получили, Господь дарует нам истинную благодарность”.

Именно от этого достойного итонца я впервые услышал об Итоне; и хотя я не мог предвидеть, что почти двадцать лет своей жизни проведу там в качестве мальчика и учителя, так получилось, что летом 1866 года преподобный К. Киган Пол, бывший “Дирижер” (капеллан) Итона, который вел итонскую жизнь в Штурминстере Маршалле в Дорсетшире, “тренировал” меня для получения стипендии Итона.

Мистер Пол, впоследствии основатель известной издательской фирмы, в то время был радикальным священником с очень “широкими” взглядами, другом Фредерика Денисона Мориса, Чарльза Кингсли и многих других либералов. Человек с тонким вкусом, он также обладал большим запасом жизнерадостности и бодрости духа, которые, благодаря его неизменной доброте, сделали его очень популярным среди своих учеников; действительно, только в самом Итоне могла быть более восхитительная жизнь, рассматриваемая с мальчишеской точки зрения, чем та, которую мы вели в те летние месяцы - рыбалка, купание, разведение птичьих гнезд. Единственным облачком на нашем горизонте был предстоящий обряд Конфирмации, который некоторым из нас предстояло пройти в Блэндфорде и к которому готовил нас мистер Пол. Я всегда был благодарен ему за простоту его метода, который был свободен от болезненных расспросов, распространенных тогда в школах. Я думаю, он задал мне только один вопрос: “Неправильно ли сомневаться?” Это была проблема, по поводу которой я не испытывал никакого беспокойства; сделав смелый шаг, я ответил “Нет” и с удовлетворением обнаружил, что ответил правильно.

В Итоне моим наставником был мистер Фрэнсис Уорр Корниш, один из мягчайших и образованнейших людей, полная противоположность задиристому школьному учителю старого доброго типа, который даже тогда не был полностью вытеснен. Очень любимый теми из своих учеников, кто близко узнал его, мистер Корниш сильно стеснялся в общении с мальчиками из-за своей застенчивости и неуверенности в себе; ему недоставало того дара добродушия, который необходим успешному учителю. Это я обнаружил довольно рано, когда во время вступительных экзаменов мне велели показать ему черновую копию моих стихов на латыни. Именно им, как оказалось, я в основном был обязан своим избранием; но меня несколько угнетало, когда мой будущий наставник, прочитав эти строки с печальным и несчастным выражением лица, вернул их мне обратно, сказав не более ободряющего замечания, чем: “Слишком много друзей”. Много лет спустя, когда мистер Корниш, претендовавший на пост директора школы, был описан в отзыве как “стоящий на пороге поэтического творчества” (странное свидетельство для такой должности), я вспомнил его критику моих юношеских стихов и не мог отделаться от мысли, что его собственному поэтическому гению также пошло бы на пользу большее вливание живого или дактилического элемента. Его натура была явно спондаической; но он был добрым и обходительным джентльменом в лучшем смысле этого

слова, и в менее суровой обстановке, чем в государственной школе, его выдающиеся способности нашли бы более широкое применение.

То же самое следует сказать и о докторе Дж. Дж. Хорнби, который сменил строгого доктора Балстона на посту директора Итона в 1868 году. Было чудом, что человек, который так любил досуг и тишину, как он, и который, казалось, всегда стремился скорее выполнять формальности высокого поста, чем надевать их, сознательно добивался повышения в профессии, которая, возможно, была ему не очень близка. Не то чтобы ему не доставало известных качеств правителя: у него была величественная осанка, в высшей степени вежливые манеры, очаровательное чувство юмора и редкая способность заинтересовать аудиторию любым предметом, о котором он говорил. Но за этими внешними способностями у него была фатальная слабость — пожалуй, правильнее было бы назвать ее "расхлябанностью", — которая ослабила бразды правления и сделала его директорство периодом, которым Итон не имел причин гордиться. "Праздность царит повсюду, - писал в то время студент Итона, - и *какая* праздность! Как человек, который никогда не имел дела с китайцами, может иметь лишь слабое представление о том, что такое мошенничество, так и человек, который никогда не был в Итоне, имеет лишь слабое представление о том, что такое безделье".^[2] Что удивительного, если директор сам был непунктуальным, как четвероклассник?

Хорнби был слишком замкнутым, слишком чувствительным, чтобы руководить большой школой. Я прослужил в его подразделении два года, почти в начале его директорства; и я до сих пор вижу его сидящим за своим дубовым столом посреди комнаты для шестиклассников, поигрывающим карандашом и поглядывающим на нас несколько искоса, как будто избегая либо пристального внимания, либо того, чтобы быть пристальным, потому что он был не из тех наставников, которые бросают вызов своему классу и смотрят на него свысока. За это он понравился нам еще больше, но мы догадывались, что он чувствовал себя не совсем в своей тарелке; и одному из нас пришло в голову, что его точно охарактеризовали той лаконичной фразой, которую Тацит применил к римскому императору: *Capax imperii nisi imperasset* ("Каждый дюйм — правитель, если бы только он не правил"). В нем также была определенная неказистость, которая временами заставляла нас задуматься; пока кто-то не предложил нам просмотреть отчеты по крикету и посмотреть, как он проявил себя в этом высшем критерии величия - матче Итона и Харроу. Мы так и сделали и обнаружили, что он попал в свою калитку. Таким образом, все объяснилось, подтвердились наши худшие опасения.

Отсутствие дисциплины в некоторых классах было ужасающим. Мой первый семестр прошел в "лагерном" отделении пятого класса, очень шумном, затем его занял самый опытный знаток классической литературы, известный как "Суэйдж", или "Свог", и более неприятного представления для новичка едва ли можно было придумать. Шум был так велик, и так яростны были попытки несчастного "Свэйджа" подавить его, что быть членом этого класса было так же опасно, как для благожелательно настроенного гражданина быть замешанным в уличных беспорядках; ибо среди такого количества мучителей никто не был застрахован от того, что его примут за зачинщика. Классная комната "Суэйджа" находилась на первом этаже, недалеко от дороги; и одной из первых сцен, свидетелем которых я стал, была решительная попытка нескольких старших мальчиков загнать в комнату заблудшую корову; они довели ее до двери, но там ее встретил и повел обратно сам "Суэйдж", кричавший во весь голос и размахивавший своим большим дверным ключом. Это была своего рода игра, которая продолжалась почти ежедневно. В настоящее время сообщалось, и я верю, что это правда, что "Swage" однажды

назначил наказание птице. Петь и насвистывать было обычным делом в его Подразделении; и когда птица уселась у окна и зачирикала в перерыве между всеобщим гамом, он слепо бросился на нее с криком “Сто строк”.

Ходили также слухи, что в письме, которое он однажды написал директору школы, жалуясь на одного из своих частных учеников, который упорно продолжал громко стучать в дверь его кабинета, был короткий возглас, более красноречивый, чем многие слова: “P.S. Он все еще стучит”.

Попасть в руки мальчишек, как это случилось с этим злополучным хозяином - и его участь разделили еще несколько человек, — означало оказаться пленником у дикарей: они, правда, не убили и не съели его, но это было пределом их нежного милосердия, и каждый день его выводили заново, чтобы он подвергался травле и беспокойству.

Таково было положение дел, когда Хорнби назначили директором; и оно стало скорее хуже, чем лучше при его вялом режиме. И все же никто, знакомый с историей телесных наказаний, не удивится, услышав, что он часто пользовался розгой. Редко проходило дня без визита учителя шестого класса в одно или несколько Отделений, чтобы попросить какого-нибудь виновника “остаться после уроков”; и в тех случаях поведение класса было хорошим показателем того, с какой точки зрения рассматривалось наказание. По мере приближения рокового часа взгляды всех были прикованы к преступнику, который до последнего сохранял бесстрашие; пантомимические жесты указывали на характер наказания, которому он вскоре должен был подвергнуться; поднимались часы, чтобы подчеркнуть ужасный факт, что, как и в случае с доктором Фаустусом, время бежало; и слышались предположения относительно того, “сколько” он получит. Друзья жертвы, действительно, вряд ли были настолько внимательны и сочувствующи, как того требовали обстоятельства.

Порка - это старый институт, который упоминается в каждой книге, написанной об этой школе, и который никогда не мог быть опущен ни в одном рассуждении об Итоне. Раньше во время каникул группы виндзорских экскурсантов устраивали экскурсию по школьным зданиям под руководством женщины — предположительно жены одного из служащих Колледжа, — которая давала устные пояснения о “достопримечательностях”. Когда мы добирались до комнаты директора, экскурсовод, конечно, обращала внимание на этот ужасный символ власти - “блок”; и, указав на роль, которую он играл в исправлении правонарушителей, она добавляла каркающим голосом, соответствующим торжественности темы: “Они получают наказание на своих местах”. Это было верное, но довольно неадекватное описание практики, которую могло терпеть только очень варварское общество. Порка была отвратительным зрелищем даже для двух “младших мальчиков”, которые затем должны были выступать в роли “держателей”; еще более отвратительным зрелищем для учителя шестого класса, обязанностью которого было присутствовать; и больше всего, можно было бы предположить, для директора школы. Это было описано как “операция, проводимая на обнаженной спине самим директором школы, который всегда является джентльменом, а иногда и высоким сановником Церкви”.^[3]

Младшим мастером, в то время, о котором я говорю, была преподобная Ф. Э. Дарнфорд по прозвищу “Джуди”, описанная в *Итоне под руководством Хорнби* как “странная, смешная, но почти жалкая фигура с причудливым морщинистым лицом и в целом обветренным видом, похожая на древнего моряка в академическом одеянии”. Он тоже свободно пользовался розгой в своих владениях Младших классов, но его наказания носили более отеческий характер, и в

промежутках между ударами розги он вставлял моральные упреки своим странным гнусавым голосом, например: “Ты нахти, нахти, мальчик!” Говорили, что во время наказания он даже вступал в разговор с преступником, особенно когда знал его “народ” лично, и что однажды было подслушано, как он спрашивал мальчика на плахе: “Ты давно видел своего дядю?” - вопрос, который в данных обстоятельствах на первый взгляд мог показаться неуместным, но, вероятно, был направлен на то, чтобы пробудить в преступнике раскаяние, направив его мысли к какому-нибудь благочестивому и уважаемому родственнику. Для старшеклассников “Джуди” Дарнфорд была неизменным развлечением; они отмечали каждый его жест; например, когда во время выполнения упражнений, если какое-то слово или фраза ускользали из его памяти, он усаживался, энергично почесывая виски, и восклицал: “Это не укладывается у меня в голове”.

Среди ассистентов доктора Хорнби было еще несколько человек, чья эксцентричность стала плодотворной темой для анекдотов и легенд. Рассел Дэй, тихий и незначительный на вид человечек, обладал едким остроумием и даром составлять готовые эпиграммы, из-за чего его одинаково боялись и учителя, и мальчики. “Друг, ты усвоил этот урок с помощью шпаргалки: шпаргалка - это вещь, в которой ты лежишь”, - таково было его замечание в ходе урока по Теокрыту члену его Подразделения, от которого я услышал эту историю целых сорок лет спустя. Там были два мальчика по фамилии Бэнкс, один из которых впоследствии стал известен как выдающийся К.К., другой был ленивым юнцом, который никогда не выучивал уроков и имел обыкновение очень медленно бормотать по-гречески или по-латыни, чтобы отсрочить момент открытия. В один из таких случаев Дэй откинулся на спинку стула и сказал своим протяжным тоном: “Бэнкс, Бэнкс, ты напоминаешь мне банки, где сосут пчелы и своим журчанием усыпляют меня”. Я помню, как мой друг и школьный товарищ по имени Суон, ученик Дэя, показал мне экземпляр своих стихов на латыни, к которым была сделана следующая аннотация: “О, боже! Ты *цикнул*. Не менее характерным было резкое увольнение Дэем молодого человека по имени Коул (в отчете говорится, что это был будущий директор Банка Англии): “Тогда, Коул, ты можешь сматываться”. Он также не стеснялся обращать свое остроумие против своих коллег или самого себя. Он назвал своего пони “Люцифер”, потому что, как он сказал, “Когда вы видите, как он приближается, это возвещает о приближении Дня”.

Еще более замечательным учителем был Уильям Джонсон, автор “Ионики”, впоследствии взявший имя Кори, человек поистине гениальный, чей вынужденный уход из Итона (ибо он ушел не из-за какой-то собственной внезапной прихоти, как предполагалось в настоящее время) стал трагедией его жизни, “странной раной”, как он называет это в одном из своих опубликованных писем. О “Билли Джонсоне” написано много описаний. Вот отрывок из одного из них:

“Внешне, как и во всем остальном, он был непохож на типичного школьного учителя: его вдумчивые, красивые, несколько чувственные черты лица были совершенно необычны; и из-за близорукости у него был мечтательный, мистический, пытливый взгляд, который иногда немного тревожил ум школьника. Были также случаи, когда мы боялись его едких высказываний (даже школьные учебники, написанные им, пестрели эпиграммами) и с некоторой тревогой слушали его резкие, отрывистые высказывания или наблюдали за ним во время тех ‘обвиняющих пауз’, которыми, едва ли меньше, чем своими язвительными речами, он мог внушить благоговейный трепет самому неуправляемому классу. Его слепота привела к распространенной истории (я полагаю, апокрифической, поскольку ее рассказывали и о других людях в разное время), что его видели преследующим курицу на Виндзорском холме и тщетно хватающим ее, полагая, что это его шляпа; но несомненно, что иногда его видели неподвижно

стоящим на школьном дворе или на каком-нибудь открытом месте, очевидно, не замечающим ни наблюдателей, ни прохожих и погруженным в глубокие грезы наяву. Станным он, несомненно, был до такой степени, что доставлял неудобства школьному учителю; и ходили странные анекдоты о некоторых слишком щедрых ужинах, которые он устраивал своим любимцам из числа мальчиков, когда начинал с вежливого замечания, что они напиваются, и заканчивал тем, что бесцеремонно выгонял их с лестницы ”.[4]

“Раньше мудрецы отращивали бороды. Теперь это делают другие люди”. Мы предполагали, что это предложение в *Nices*, рабочей тетради Уильяма Джонсона, предназначалось другому помощнику учителя, бородатому священнику, грубоватому, честному, невоспитанному и всеми нелюбимому, который носил фамилию “Стиггинс”. У него была отвратительная привычка стоять под прямым углом к любому, с кем он разговаривал, при этом он смотрел прямо перед собой, его длинная рыжая борода ниспадала до пояса, а когда он говорил, то как бы бросал свои слова вам в лицо из-за угла. Его грубость была притчей во языцех; и попытки иногда оправдать ее на том основании, что это “не было намеренно”, я думаю, не очень нравились ни учителям, ни мальчикам; и справедливо, ибо, несомненно, единственный вид грубости, который можно простить, - это та, которая была намеренной. Бывают случаи, редкие, но реальные, когда быть грубым необходимо и полезно; но быть грубым, не зная об этом, - это верх невоспитанности, и это был именно тот вид невежливости, в котором “Стиггинсу” не было равных.

История о том, как “Стиггинс” однажды чуть не был сброшен в Барнс-Пул, приток Темзы, буйной ватагой мальчишек, была рассказана не в одной книге об Итоне; любопытное совпадение, что он едва не разделил судьбу своего преподобного предшественника в *Ликвике*, которого разъяренный мистер Уэллер окунул в поилку для лошадей. Этот инцидент был, пожалуй, самым громким из многих скандалов, произошедших в Итоне во время директорства доктора Хорнби.

Мне часто казалось странным, что я обязан такому простому и лишенному украшений варвару, как “Стиггинс”, своим первым знакомством со стихами Китса: он подарил мне в качестве приза издание сочинений Моксона. Он также “отправил меня навсегда” (за латинские стихи), честь, о которой мне довольно неприятно напомнили примерно двадцать или более лет спустя, когда он ушел из Итона в сельский приходской дом; ибо, чтобы собрать средства для предполагаемого “восстановления” своей церкви, ему пришла в голову идея собрать пожертвования “во славу Божью”, как он выразился, от каждого старого итонца, который в былые дни был “отправлен навсегда” в его Подразделение. В этом предложении была наивная наглость, весьма характерная для его автора.

Написание латинских стихов, столь высоко ценимых в Итоне, было любопытным достижением. Кольридж сказал в своей *Застольной беседе*, что итонцы приобрели это искусство, “обманув Овидия и Тибулла”: насколько я помню, Овидия мы читали редко, а Тибулла - совсем. Некоторые из нас, конечно, поднаторели в сочинении своеобразных латинских стихов; но нашими образцами были переводы английских стихотворений из таких сборников, как “*Arundines Cami*” или “*Sabrinae Corolla*”, а не какие-либо латинские оригиналы; и хотя мы могли легко и даже аккуратно создавать “длинные и короткие”, я вряд ли думаю, что наши произведения выдержали бы проверку в эпоху Августа. И все же искусство стихосложения, каким бы оно ни было, приносило нам определенное удовлетворение; и летом, когда, как мы все чувствовали, время ведущих игроков в крикет имело неоценимую ценность для школы, мы были рады использовать наше мастерство с пользой, сочиняя для них еженедельный сборник стихов и, так

сказать, освобождая их от несерьезного занятия ради серьезного. В “дни стихов” члены “Одиннадцати” часто приходили в колледж, где каждый находил для себя поэта; и таким образом экономилось драгоценное время для практики в сетях. Это было немного, что мы могли сделать для такого великого дела, но мы сделали это с готовностью; и я помню искреннюю гордость, которую я испытывал, диктуя капитану “Одиннадцати” экземпляр стихов, составленный в основном из старых меток и шаблонных фраз, которые он переписывал с большим удовлетворением и без малейшего понимания. Его незнание значения того, что якобы было его собственным сочинением, не привело бы ни к каким неприятностям, поскольку наставники и руководители дивизионов в равной степени знали, что они не должны слишком давить на хорошего игрока в крикет. Синяя шапочка прикрывала множество грехов.

Но кто, оглядываясь назад на те ушедшие времена, может сомневаться в том, что мы были дикарями? *Non angeli, sed Angli*. “Это была эпоха, - как хорошо заметил мистер Ральф Невилл в своей книге “*Флорит Итона*”, - когда еще не возникло отвратительного ханжества гуманизма, порожденного роскошью и слабостью, способного выхолостить и ослабить британскую расу”. Охота и разделывание зайцев тогда, как и сейчас, были одним из признанных развлечений; действительно, даже во времена директорства доктора Балстона (1857-1868) мальчикам разрешалось в качестве вариации от охоты на зайца преследовать с гончими изувеченную лису, лишенную одной из своих лап.^[5] В сотнях проповедей, которые я слышал в часовне Итонского колледжа, никогда не было сказано ни слова о жестокости. И неудивительно, ведь Итон всегда был домом жестоких видов спорта.

Этим жалким занятиям было тем меньше оправданий, что в пределах досягаемости итонского мальчика было изобилие более благородных видов спорта: нигде больше река и игровое поле не могли предложить таких развлечений. Волнующим больше всего на свете и увенчавшим все великолепие летних школьных каникул был грандиозный ежегодный матч по крикету между Итоном и Харроу в “Лордз”, драма такого волнения, с которой ничто в зрелой жизни не могло сравниться. Кто, например, был свидетелем матча 1869 года — года Си Джея Оттавея, когда Итон прервал длинную серию поражений победой в один иннинг, — мог забыть безумную сцену в конце? Я до сих пор вижу доктора Гудфорда, почтенного ректора Итона, эксталично танцующего со шляпой в руке перед павильоном и выглядящего очень похоже на то, каким “Шпион” однажды изобразил его в известной карикатуре на *Ярмарку тщеславия*.

Легкая атлетика, конечно, имела приоритет над всеми интеллектуальными занятиями. *Итонец* в наше время был всего лишь смутной легендой прошлого, а гений Прэда и Моултри не оставил прямой линии преемственности; тем не менее среди старшеклассников не было недостатка в литературных устремлениях, и у нас был школьный журнал “*Авантюрист*”, который просуществовал с конца шестидесятых около пяти лет. Один из его редакторов, коллега по имени К. К. Торнтон, был автором нескольких чрезвычайно хороших стихов; и среди других авторов, написавших о последней части карьеры *Adventurer's career, were Arthur A. Tilley, now a Fellow of King's College, Cambridge; E. C. Selwyn, afterwards headmaster of Uppingham School; J. E. C. Welldon, the popular Dean of Durham; Herbert W. Paul; George Campbell Macaulay; J. C. Tarver; and Sir Melville Macnaghten, who wrote as M²*, а также если я не ошибаюсь, псевдоним “Том” охватывал некоторые ранние стихотворения мистера Ф. Б. Мани-Куттса, ныне известного как барон Латимер. Одним из лучших эссе в “*Авантюристе*” было “Арбитраж как замена войне”,^[6] мистера Герберта Пола. Другим заслуживающим внимания вкладом, представляющим некоторый исторический интерес для итонцев того периода, было стихотворение епископа

Уэллдона под названием “Искатель приключений”[7], в котором Журнал был представлен как дающий некоторое описание нескольких членов своего “персонала”, будь то в знак признания их заслуг или в порицание их небрежности. Среди тех, кто был четко указан, хотя и не назван, были А. А. Тилли, Р. К. Рэдклифф, Г. Р. Мюррей, Бернард Кольридж (ныне лорд Кольридж), Х. Г. Уинтл, Г. К. Маколей, К. К. Лакайта, Дж. Э. К. Уэллдон, Э. К. Селвин и автор этих воспоминаний. Причиной смерти *Авантюрист* было то, что это противоречило настроениям итонцев, поскольку они действовали по опасному принципу: “только те, кто по-настоящему любит Итон, осмеливаются указывать ей на ее недостатки”. [8]

Помимо *Авантюриста*, литературные амбиции некоторых студентов Колледжа в те далекие дни искали нерегулярного выражения, снабжая виндзорскую прессу, когда представлялась возможность, преувеличенными и абсурдно раздутыми отчетами о любом захватывающем происшествии, таком как вспышка пожара. И не только местные газеты привлекали нас; я помню, как однажды мы с Дж. К. Маколеем заключили дерзкое пари о том, кто из нас более вопиюще разыграет *Поле* с помощью какой-нибудь истории о редкой птице. Он попробовал рассказать слишком красочный анекдот о пчелоеде, но ему не удалось завоевать доверие; в то время как я скромным рассказом о предполагаемом аисте в Виндзорском парке (“мог ли это быть аист? Я действительно почувствую себя счастливым, если мое предположение окажется верным”), не только увидел, что мое письмо вставлено, но и получил лестный комментарий редакции: “Скорее всего, это был аист”. Таким образом, мы творили естественную историю и коротали часы досуга.

При взгляде на групповую фотографию коллег пятидесятилетней давности всплывает много воспоминаний. Э. К. Селвин, до того как мы встретились в Итоне, был моим школьным товарищем по частной школе Блэкхит, директором которой был его отец; и наши дружеские отношения время от времени возобновлялись до его смерти в 1919 году. Как я однажды напомнил ему, у нас было всего две ссоры — первая, когда мы были первокурсниками в Кембридже, из-за Мозеса, в которого я имел наглость сказать, что “не верю”; и вторая, позже, из-за того, что я не верил в мистера Х. М. Хиндмана, социалистические доктрины которого Селвин столь же яростно не одобрял. Много лет спустя я сделал ему то, что считал справедливым предложением, — что если он откажется от Моисея, я откажусь от другого патриарха, и таким образом наши два небольших разногласия будут взаимно урегулированы; но его ответ был таким, что, хотя Моисею больше не нужно откладывать урегулирование, он не может согласиться с отказом от мистера Хайндмана, потому что его патриотическое поведение во время Великой войны показало его в новом свете.

В те дни мы привыкли называть Селвина “епископ” либо из-за дальнего родства с доктором Г. А. Селвином, хорошо известным епископом Личфилда, либо потому, что считали, что ему почти наверняка суждено достичь епископского сана: его ученость, не говоря уже о том, что он защищал Моисея, казалось, заслуживала не меньшего. Дж. Э. К. Уэллдон, который все-таки стал епископом, был еще одним добродушнейшим школьным товарищем, известным на футбольном поле не меньше, чем в экзаменационном кабинете. Я помню, как бежал вторым после него в забеге на четверть мили с гандикапом, в котором ему разрешили стартовать на добром количестве ярдов, и с этим преимуществом ему едва удалось удержать остальных в тылу. Герберт Пол, в отличие от Уэллдона или Селвина, ни в коем случае не был предназначен для епископства. Я помню его, скептика даже в детстве, стоящим в Верхнем коридоре, где студенты колледжа часто вели неформальные дискуссии, когда, засунув большие пальцы в

жилетные карманы, он, уже будучи бесстрашным спорщиком, высказывался по вопросам человеческим и божественным.

Среди других фигур в группе доктор Райл, декан Вестминстера; сэр Ричмонд Ричи; мистер Джордж Кэмпбелл Маколей; мистер К. Лоури, глава школы Тонбридж; доктор Берроуз, епископ Чичестера; доктор Хармер, епископ Рочестера; сэр Э. Рагглз-Брайз, председатель Тюремной комиссии; мистер Э. К. Теннисон-д'Эйнкорт; преподобный Дж. Х. Дж. Эллисон, покойный викарий Виндзора; сэр Лайонел Карден, известный мексиканец; и другие, которые по-разному прославились.

Очень вызывающими на воспоминания являются также иллюстрации, напечатанные в книгах об Итоне, изображающие прислугу колледжа, здания колледжа и многие хорошо запоминающиеся лица и сцены. Возьмем, к примеру, картину “Старые слуги колледжа” в *“Флорите Итона” мистера Ральфа Невилла*.

Вот стоит старый привратник колледжа Гарри Аткинс, которого, к нашему стыду, мы обычно обстреливали темными зимними ночами в его маленькой сторожке у ворот Школьного двора, швыряя снаряды в его дверь из-за колонн галереи под Старшей школой и доверяя нашей превосходной быстроте, когда его подстрекали к отчаянной атаке. Здесь также находятся Каллифорд, дворецкий, и Уэстбрук, повар, к которым мы относились с гораздо большим уважением, чем к не менее уважаемому Аткинсу, поскольку они руководили отделами, в которых больше заботились о нашем личном комфорте, и из рук которых по случаю банкетов в холле Колледжа младшие студенты Колледжа пытались выпросить или вырвать лакомства, когда те приносили их с кухни. Среди наименее выдающихся членов группы есть некто Уэгстафф, получивший прозвище “поваренок”; и все же, каким бы скромным он ни был с виду, его имя стало нарицательным среди мальчиков; потому что несколько неаппетитное тесто, из которого готовились пудинги, подаваемые студентам колледжа, было тогда известно как “Уэгстафф”, предположительно, исходя из предположения, что нижняя часть пудинга была творением младшего повара. Не думаю, что я смог бы сейчас есть этот пудинг; но, снова глядя на образ почтенного Уэгстаффа, я чувствую, что мы поступили с ним несправедливо, идентифицировав его, как мы это сделали, с отвратительным составом, в котором он, простой подчиненный, не был лично виноват.

В зал Колледжа ежедневно приходили за остатками хлеба и другими съестными припасами несколько бедных старых подающих милостыню; и если и нужны какие-либо дополнительные доказательства чрезвычайной тонкости покрова, которым прикрывалась наша юношеская дикость, то их можно найти в нашем обращении с этими скромными людьми, от которых было гораздо больше пользы в мире, чем от нас самих. Мы называли их “ведьмы”; и одним из наших развлечений было соорудить для них так называемую “ловушку для ведьм”. В большом квадратном куске хлеба выдалбливали середину через просверленное сбоку отверстие, и когда полость заполнялась горчицей, перцем, солью и т. Д., Отверстие затыкали, а хлеб оставляли лежать на столе в качестве приманки для какой-нибудь неосторожной жертвы, которая должна была отнести его к себе домой. Не знаю, сумела ли Итонская миссия в Хакни-Уик настолько смягчить сердца последующих поколений итонцев, что “ловушка для ведьм” теперь стала бы невозможной; но в те дни у нас определенно не было ни малейшего сочувствия к рабочему классу, за исключением, возможно, тех служащих колледжа, которых мы знали лично и которые заботились о наших нуждах.

Мы не притворялись, что относимся к рабочему человеку как к брату. Однажды, когда я путешествовал с несколькими итонскими друзьями, подметальщик, стоявший на платформе, попытался проникнуть в наш вагон как раз перед отправлением поезда. Мы мгновенно схватились за дверь и закрыли ее изнутри; и после короткой борьбы (встревоженные глаза чернокожего человека до сих пор преследуют меня) победа осталась за нами, потому что поезд тронулся, и зачистка осталась позади. Таково было наше представление о братстве. Это Ватерлоо было выиграно на игровых площадках Итона? Иногда я думал, что это, должно быть, было Петерлоо.

Но позвольте мне перейти от воспоминаний о детских поступках, совершенных теми, кто был всего лишь “скугами”, или “младшими мальчиками”, к тому огромному чувству собственной важности, которое мы осознали, когда достигли совершенства в шестом классе. Несомненно, нигде на земле нет такой выдающейся личности, как шестиклассник Итона; он постоянно действует с тем “полным чувством ответственности”, которое так дорого тем, кто сидит на первой скамье парламента. Ни один посетитель часовни Итонского колледжа не мог не быть впечатлен помпезным появлением этих двадцати безукоризненно одетых молодых людей, которые предшествуют директору и Ректору в своего рода триумфальной процессии, думая о чем угодно, только не о религиозной службе, прелюдией к которой является их прибытие. Кроме того, в дни выступлений, когда мы, одетые во фрак и бриджи до колен, декламировали отрывки из великих писателей древности или современности, мы в полной мере ощущали колоссальную серьезность нашего положения — серьезного и в другом смысле, поскольку наше самодовольство тогда отрезвлялось из-за возможности сломаться. Следить ночью за порядком в коридорах; читать латинскую молитву в холле; отмечать имена в “Отсутствии” на школьном дворе, стоя рядом с директором, даже иногда читать молитвы в домах — это были лишь некоторые из многих обязанностей и достоинств шестого класса. Ни у одной молодой пернатой “крови” в племени краснокожих индейцев не могло быть большего повода для гордости.

Даже на каникулах наши серьезные обязанности не прекращались полностью, поскольку существовал обычай посылать шестиклассников в качестве наставников к младшим мальчикам, которые нуждались в “натаскивании” дома. Дважды на мою долю выпало служить в доме Эванса живому, но очень отсталому мальчику, Чарли Селвину, племяннику епископа Личфилдского; и благоговейный трепет, который я испытывал, живя в епископском дворце, помог мне прочнее запечатлеть в памяти некоторые впечатления, которые я там получил.

Доктор Джордж Огастес Селвин был самым стойким сторонником “мускулистого христианства”. Его лицо было несколько мрачным и суровым, как и следовало ожидать от столь грозного проповедника евангелия тяжелого труда; но в его глазах был веселый огонек, который свидетельствовал об очень добром сердце; и любому, кто был связан с Итоном, нынешнему итонцу или староэтонцу, он оказывал самый теплый прием. Фактически, Новая Зеландия, место его миссионерских трудов, и Итон, где он был успешным ученым и спортсменом, были постоянными темами разговоров за его столом: он и миссис Селвин часто беседовали друг с другом на языке маори; и если бы существовал итонский язык (кроме сленга), они, несомненно, говорили бы на нем. Для епископа мир был разделен на итонский и неэтонский. Однажды я слышал, как он навязывал старому школьному товарищу, собиравшемуся покинуть Дворец, несколько изысканных блюд и цитировал строчку Горациана:

Ut libet; hæc porcis hodie comedenda relinques.

(“Как вам будет угодно! Свиньи съедят их, если оставят”.)

Он объяснил, что некоторые другие гости, которые приезжали в Личфилд в тот день, были незтонцами.

Но, несмотря на большое и львиное добродушие епископа, бывали тревожные моменты, когда при виде какого-нибудь ленивого или неряшливого поступка его вспыльчивый характер выходил из-под контроля, и тогда человек не знал, трепетать ему или внутренне забавляться тем формам, которые принимал его гнев. Однажды, пасмурным воскресным днем (во Дворце воскресенья *были* пасмурными), он услышал, как его племянник устало зевнул и сказал, что не знает, что делать. “Что?” - воскликнул епископ. “Христианский мальчик, не знающий, что делать в воскресенье днем!” Затем ужасным тоном: “Иди и принеси свое греческое завещание”. Тотчас же, пока я спешил скрыться с этой сцены гнева, несчастному мальчику пришлось претерпеть долгий урок от своего дяди.

В другой раз именно сестра моей ученицы, очень красивая девочка десяти-двенадцати лет, вызвала извержение вулкана. Во время обеда она оставила “ненужную тарелку—, то есть положила сбоку от мяса хрящи, ловко спрятанные, как она думала, под ножом и вилок, и епископ, заметив это, резко отчитал ее о греховности такой привычки. Затем, к нашему ужасу, его гнев усилился, и в конце концов он схватил тарелку девушки и тут же сам съел эту отвратительную гадость в качестве практического урока бережливости. “Епископ сегодня в очень плохом настроении, сэр”, - серьезно заметил мне впоследствии дворецкий.[9]

Итон, таким образом, был школой, где невежество было блаженством, но блаженство было очень дорого, пока оно длилось, и оно было бы еще дороже, если бы мы более полно осознали природу перемен, которые должны были последовать — разницу между Университетом и Школой. По мере приближения конца последнего летнего семестра мы все сильнее ощущали боль предстоящего расставания; и когда пришло время писать нашу *Долину*— последний экземпляр еженедельных стихотворений, в которых нам на этот раз разрешили заменить латынь английским, — мы, естественно, уподобили себя какому-нибудь пророку, видящему печальные сны, или какому-нибудь отчаявшемуся каторжнику, который видит свою приближающуюся судьбу.

Поэтому я, пишущий, всегда чувствую в своем сердце
Такое смутное предчувствие, такое глухое отчаяние:
меня тоже ждет судьба; я тоже должен расстаться
И сменить беспечную жизнь на тяжелый труд и заботы.

Несомненно, многие подобные элегии периодически попадали, как и моя, в корзину для бумаг доктора Хорнби.

ЛИТЕРА БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ

Следующий Камю, преподобный сир, шел медленно.
Мильтон.

КОНЕЧНО, после оживленности Темзы старина Камю, казалось, шел по ней очень медленно. Тяжелым было падение от экзальтации шестиклассника к низости первокурсника. Возможно, это был необходимый опыт исправления естественной педантичности детства; но это была перемена, которая нам мало понравилась, пока мы ее проходили.

Королевский колледж в Кембридже в начале семидесятых находился в фазе перехода от старомодной системы, при которой он был всего лишь придатком Итона, к новому порядку вещей, который постепенно распахивал свои двери для всех желающих; однако многое от древней мелочности духа все еще сохранялось; колледж был небольшим по численности и сдержанным по тону, в нем господствовал свод неписаных, но неприятных предписаний, соблюдать которые было пустой тратой времени, а пренебрегать “дурным тоном”. “У короля всегда был тиран”, - сказал мне Ф. У. Корниш, сам королевский человек.

Начальником был доктор Оукс, невысокий, довольно раздражительный на вид старичок, чье огромное самодовольство было темой многих историй. Однажды, когда он шел по двору, его напыщенная походка вызвала громкий смех у нескольких невоспитанных студентов, наблюдавших за ним из окна; после чего он послал за ними и объяснил, что подобному веселью нельзя предаваться, пока он проходит мимо. То, что он сам мог быть причиной этого веселья, было возможностью, которая не приходила ему в голову.

Следующим по авторитету был декан, бледный и иссохший на вид священник по имени Чертон, который сам всегда казался несчастным и заражал каждого, кто входил в его покои, чувством дискомфорта. Он обычно приглашал старшекурсников позавтракать с ним - меланхоличное мероприятие, в котором ему часто помогал Фред Уайтинг (фамилия произносилась как “Уайтинг”), грубоватый и более добродушный дон, чья беседа просто спасала гостей от полного отчаяния; и на этих развлечениях единственным замечанием бедняги Чертона, когда он угощал рыбу, был вопрос с кислой улыбкой невыразимого несчастья: “Уайтинг, ты станешь каннибалом?”

Очень непохожими на этого холодного декана и гораздо более интересными, как подлинные реликвии доблестных старых времен, когда королевским особам не нужно было учиться или напрягаться, поскольку университетская карьера была им обеспечена с самого начала, были два дородных и неразлучных холостяка, мессеры Дж. Лоу и Броклбэнк, единственным занятием которых, казалось, было в полной мере пожинать плоды своего пожизненного товарищества, которого они придерживались на протяжении изрядного количества лет. “Брок” и “Эпплхед” были их прозвищами; оба были полными и громоздкими, но в развитии черепа мистера Лоу была округлость, которая придавала ему более внушительный вид. Когда они неторопливо прогуливались бок о бок по дворам и лужайкам, нам было забавно представлять их парой странных пережитков грубой доисторической эпохи, а мы сами, конечно, играли роль

современных людей и интеллектуалов. Когда “Эпплхед” умер, некий анонимный поклонник в поэтической эпитафии повелел нам украсить его могилу тыквами, калачами, дынями, огурцами и другими символическими фруктами.

Литературный элемент в King's был не силен, но в лице Генри Брэдшоу, одного из старших научных сотрудников, колледж мог похвастаться очень выдающимся университетским библиотекарем. Он был добрым, но в высшей степени капризным и эксцентричным человеком, чья дружба была открыта для любого студента, который искал ее, только ее нужно было искать, и на условиях, навязанных самим Брэдшоу, поскольку она никогда и ни при каких обстоятельствах не предлагалась. Если вы появлялись в его комнате без приглашения — довольно тяжелое испытание для нервничающего первокурсника, — вас принимали радушно, возможно, принимали в свое сердце. Если вы не представлялись, он никогда не просил вас прийти; напротив, как бы часто он ни встречал вас на лестнице или где-либо еще, он проходил мимо с выражением пустого и каменного безразличия на своем большом и несколько невыразительном лице. Я знал ученого Кинга, который жил на лестнице Брэдшоу и которого больше года считали несуществующим; затем однажды вечером, движимый внезапным порывом, он постучал в дверь великого человека, вошел и был немедленно принят в веселый круг своих знакомых. Было бесполезно возмущаться такой своеобразием Брэдшоу; в его лексиконе не было слова “следовало”; вы должны были воспринимать его на его собственных условиях или “обходиться без этого”; и огромное количество университетских мужчин, которые совершали паломничество в его покои, само по себе было доказательством его мастерства. Я вспоминаю следующие строки из эпиграммы, которую написал на него какой-то мятежный студент-старшекурсник:

Восседающий на троне высшего безразличия, он видит
растущий пыл своих приверженцев:
Его не волнует, придут ли они, хотя все больше и больше
Их толпится, подчиняясь священным вратам:
Его не волнует, уйдут ли они, но, тем не менее,
Его “урожаи созревают, а стада увеличиваются”.

Так оно и было; и Брэдшоу, обладавший даром очень язвительной речи, вполне умел держать свои “стада” в порядке, когда они были собраны: время от времени он говорил резкое и здоровое слово какому-нибудь тщеславному или самонадеянному посетителю. Даже его ближайшие друзья не могли позволить себе никаких вольностей по отношению к нему. Говорили, что когда мистер Г. В. Протеро, в то время сотрудник King's, стал опускать “Эсквайр” в адреса писем и писать просто “Генри Брэдшоу”, библиотекарь в ответ лаконично обратился к “Протеро” — и ничего больше.

Посещение лекций и церковных служб входило в главные обязанности студентов; а лекции были гораздо менее утомительным занятием. Однако было прохладно холодным зимним утром слушать, как великий греческий ученый Р. Шиллето в течение часа рассуждал о своем любимом Фукидиде; поскольку он был пожилым человеком с хроническим кашлем, и его увлеченность греческими идиомами едва ли компенсировала слушателям физические трудности, с которыми он работал. Он весело начинал трудный отрывок и, охваченный приступом кашля, на некоторое время терял место; затем, протягивая “да”, подхватывал нить своей речи, пока его не одолевал

новый спазм; в то время как мы, желая позавтракать гораздо больше, чем привилегии слушать второго Порсона, кипели и ерзали и делали заметки, или забывали делать заметки, пока бой часов не отпускал нас. Гораздо большей популярностью пользовались некоторые лекции, которые мы посещали в других колледжах и которые читали такие опытные знатоки классики, как Генри Джексон и Р. К. Джебб. Джебб всегда был таким же — собранным, аккуратным и красноречивым; Джексон, напротив, хотя и не становился менее компетентным, доводил себя до лихорадочного раздражения, когда не мог найти точного слова, которое искал; и тогда, к нашему удовольствию, он обзывал себя “болваном” и “идиотом”, даже когда произносил самую многозначительную речь.

Обязательные “часовни” были большим испытанием для некоторых из нас; и каждый королевский ученик, в свою очередь, был обязан читать Уроки в течение недели. Я не знаю, почему это должно было показаться более грозным, чем “речи” в Итоне, но это был кабинет, которого мы, к счастью, избежали. Требовалось некоторое мужество, чтобы спуститься с лавки в этой просторной часовне — особенно когда, как в воскресенье днем, было большое скопление посетителей, — а затем подняться по тому, что жители скал называли бы “открытым гребнем”, по ступеням, ведущим к большому аналою в середине нефа. Это было ощущение крайнего одиночества и отрешенности, когда мало что, кроме самой кафедры, давало поддержку и защиту; так что мы могли почти посочувствовать бедственному положению того студента с сомнительной репутацией, который, согласно распространенной истории (которая, будем надеяться, была вымышленной), попытался прочитать Лекцию в какой-то университетской часовне, когда был не так трезв, как следовало бы. Обвинив руками орла — поскольку его кафедра была выполнена в форме этой языческой птицы, — он, как говорили, привел в ужас прихожан, воскликнув задумчивым голосом: “Если бы не эта [нечто] утка, я был бы уже на земле”.

Но практика облегчает все; и через некоторое время один или двое из нас настолько преодолели свою нервозность, что использовали свое положение за кафедрой на благо, как мы думали, всего собрания в целом - конечно, для нашего личного комфорта; ибо мы рискнули сокращать Уроки по мере нашего желания. “На этом урок заканчивается”, - восклицали мы, прочитав, может быть, не более дюжины стихов из двух-трех предыдущих; и тотчас же звучал большой орган, и помпезная хоровая служба продолжалась своим чередом. У нас была частная информация, что это нарушение не осталось незамеченным некоторыми преподавателями; но поскольку ничего не было сказано, мы пришли к выводу, что они тайно благословили нас за это.

Отношения между преподавателями и старшекурсниками были по большей части очень дружескими; но вежливость преподавателей была несколько сдержанной и снисходительной - возможно, не без причины, поскольку старшекурсники, как и школьники, были склонны неоправданно пользоваться любым избытком приветливости. Однажды, когда я прогуливался по Кингз-Парад со своим другом, мы увидели великого доктора Лайтфута, идущего с противоположной стороны. “А теперь только посмотрите,” сказал мой спутник, “каким вежливым будет Лайтфут. Посмотрите, как я заставлю его улыбнуться, когда он будет проходить мимо”. И действительно, ученый богослов в ответ на дерзкое приветствие того, кто не имел ни малейших претензий на его знакомство, мгновенно расплылся в улыбках и доброжелательности, как будто он встречал сына своего самого дорогого друга, а не был нагло навязан незнакомцем.

Мы скорее боялись приглашений, которые иногда приходили к нам на официальный завтрак или, что еще хуже, *названный вечер* (широко известный как “фуршет”) в резиденции какого-нибудь высокопоставленного лица. Я уже говорил о чертонских завтраках в Кингз; еще более серьезным событием было то, что один из дюжины студентов был вызван *всем вместе* на завтрак в Тринити Лодж, поскольку доктор Томпсон, магистр Тринити, был крупным университетским магнатом, широко известным и внушавшим страх своими нравоучительными высказываниями и едкими сарказмами, многие из которых передавались из уст в уста. Мы слышали о его смертоносном приговоре в университетской проповеди, произнесенной дином Хаусоном, соавтором книги Конибера и *"Житие святого Павла"* Хоусона: “Я подумал, каким очень умным человеком, должно быть, был мистер Конибер”. Будучи раз или два участником таких завтраков, я вспоминаю, как неловко мы стояли, сбившись в кучу, когда вошли в присутствие мудреца, и как, проходя в зал для завтраков, мы почти толкали друг друга в нашем стремлении занять место как можно дальше от того конца длинного стола, где восседал Учитель в его величии. Что касается *званных вечеров* в Тринити-Лодж и других местах, то они требовали определенной выносливости, поскольку количество посетителей превышало количество посадочных мест, а стоять два часа в углу и делать вид, что тебе это нравится, было утомительно даже для молодежи. На этих церемониях, когда хозяин Королевского колледжа был хозяином, он обычно с огромной снисходительностью приглашал студентов “садиться”; и когда он с ударением добавлял: “Вы можете присесть *здесь*”, было понято, что он размышляет о более высоком комфорте развлечений ректора по сравнению с развлечениями в Trinity Lodge.

Одна вещь, которая несколько раздражала чувства студентов, заключалась в том, что никто, кроме ректора и стипендиатов, не мог ступить на обширные лужайки Королевского колледжа — эгоистичная привилегия немногих, как оказалось, сохранявшаяся за исключением многих. Как бы то ни было, наступила ночь, когда небольшая группа королевских приближенных совершила святотатственный акт - выпустила крота перед Домиком провоста и бесстрашно ожидала результата, предвосхищая таким образом политику лорда Милнера “наплевать на последствия”. Серьезных последствий не было, за исключением самого невинного из всех заинтересованных лиц — крота. Мы с восхищением наблюдали за ним, когда он погружался в этот мягкий зеленый дерн, как тюлень в воду; и на следующее утро мы были взволнованы, увидев небольшую грядку земляных холмиков на священной лужайке. Затем последовала большая работа садовников и ловцов кротов; и на третий день, к нашему сожалению и раскаянию, бедный крот поплатился за чужие проступки. Мы навели лондонскую газету на след этого инцидента, и редактор опубликовал несколько юмористических рассуждений в интересах читателей, интересующихся естественной историей, о том, как крот мог найти дорогу в это уединенное место.

"Журнал Кембриджских студентов" (я сейчас говорю о 1873 году и около того) выходил раз в две недели — одно время под редакцией Дж. К. Маколея, другое - Халлама (ныне лорда) Теннисона, — в котором некоторые из нас пробовали свои силы в высшей журналистике и писали сатирические эссе о различных аномалиях кембриджской жизни. Обязательные часовни; обязательные латынь и греческий; “списывание” на экзаменах; устаревшие обычаи колледжа; взыскательность университетских служащих; социальные функции, известные как “стендапы”, — вот лишь некоторые из тем, о которых мы говорили со всей уверенностью молодежи. Это снова был *Авантюрист*, но в более широком масштабе; поскольку студент-старшекурсник мог выражать свои чувства более открыто, чем школьник; иначе автор статьи об обязательном посещении часовен вряд ли стал бы так яростно критиковать постановление о

полном хоровом богослужении, при котором “человек без уха” был обречен на два долгих часа “сидеть, стоять и преклонять колени в утомительной последовательности”.

Ежегодный конкурс стихотворений на соискание английской премии предоставил еще одну возможность для зарождающихся амбиций. Однажды темой было выздоровление принца Уэльского (впоследствии короля Эдуарда) после тяжелой болезни; и именно эта довольно снобистская тема вызвала у одного из участников конкурса двустушие, которое обошло весь университет с восторгом:

Над землей вспыхнуло электрическое сообщение:

“Ему не лучше, но он почти такой же”.^[10]

Затем были “Медали сэра Уильяма Брауна”, ежегодно присуждаемые за греческие и латинские оды и эпиграммы. Эти призы обычно доставались нескольким избранным стипендиатам (у моего друга Э. К. Селвина была манера уносить их с собой); но поскольку стихи присылались анонимно, а конверт с именем участника вскрывался только тогда, когда он получал медаль, испытывать удачу в конкурсе было безопасным и довольно приятным занятием. Одним из сюрпризов в моей жизни было то, что однажды вечером старый Шиллето (кашляющий грамматист) вошел в мою комнату и сказал, что экзаменаторы присудили мне медаль за греческую эпигramму. Обнаружив в одной из строк дефект, он тут же сел и исправил его, сделав поправку, которая, несомненно, была лучше греческой и, безусловно, хуже поэтической.

Другим высокопоставленным кембриджским авторитетом того времени был доктор Бенджамин Кеннеди, известный как бывший директор школы Шрусбери и как автор латинской грамматики, знакомой многим поколениям школьников. Мне сказали навестить его в его доме, потому что мой отец служил под его началом в Шрусбери, и между семьями была старая дружба; и когда я сделал это с некоторым трепетом — возможно, потому, что недавний опыт в Тринити Лодж внушил мне страх перед “приемами”, — я нашел его в высшей степени добродушным пожилым джентльменом, совершенно свободным от устрашающей величественности ректора или магистра; более того, приглашая студентов на обед, он расслаблялся до такой степени, что не мог не восстановить доверие к самому робкому. После обеда он давал нам расшифровать “слова”, написанные буквами из слоновой кости в соответствии с этим довольно бессмысленным викторианским времяпрепровождением; или он декламировал нам странные стихи своим причудливым певучим голосом, чем-то средним между шепотом и хрипом. Кто мог бы испугаться даже самого ученого из профессоров, когда он снизошел до того, чтобы покорить нас, отрепетировав для нас такой пример английского пятистопия, как следующий, предположительно собственного сочинения:

Клубничное варенье, джем-повидло; клубника, клубничный джем.

Но даже добродушный доктор Кеннеди не мог полностью освободиться от строгости кембриджского этикета: это было невозможно, как он заявил, когда просил меня зайти к нему, *для него* - нанести визит студенту. Таких трудностей не существовало для величайшего, но наименее предполагаемого из выдающихся людей, живших тогда в Кембридже, Фредерика Денисона Мориса. Услышав обо мне как об ученике мистера Кигана Пола, он, хотя и был пожилым человеком, пришел в мою комнату на верхнем этаже Кингз-колледжа и разговаривал

так спокойно и естественно, что я чувствовал себя с ним совершенно непринужденно. Позже я завтракал у него дома наедине с ним - привилегия, которой я очень дорожил; ибо уже тогда я осознавал его истинное величие, в отличие от напыщенных университетских магнатов, которые так часто появлялись на публике. Если бы только главы колледжей и университетов могли знать — но, конечно, они редко знают, — насколько сильнее влияние простой неподдельной доброты, чем приветливости, в которой сквозит нотка покровительства и снисходительности!

Церковь Святого Эдуарда, настоятелем которой был Морис, находилась недалеко от королевских ворот, и некоторые из нас, студентов старших курсов, ходили туда воскресными вечерами, несмотря на усталость от собственных церковных служб, чтобы послушать его проповедь, поскольку нас привлекало к нему очевидное впечатление, которое он производил - спокойное сочувствие и сила. В то время, когда отвратительная доктрина вечного наказания все еще была широко распространена, его гуманизирующее влияние, должно быть, было очень ценным в Церкви. Остроумная шутка Мэтью Арнольда о том, что он ходит вокруг да около, но не заводит зайца, оставила многое недосказанным; потому что, если он не заводил зайца, он помогал замолчать адскому коту.

Незадолго до того времени, о котором я говорю, викарием Мориса в церкви Святого Эдуарда был тезка этого святого, Эдвард Карпентер, который, как рассказывается в его автобиографии,^[11] подал в отставку вместе со своим братством в Тринити-холле в 1871 году. Примерно тринадцать лет спустя я познакомился с ним в Лондоне; и я часто сожалел, что слишком поздно приехал в Кембридж, чтобы послушать его проповедь, поскольку я никогда не мог в полной мере представить автора "*К демократии*" за кафедрой, облаченного в канонический стихарь или мантию.

Целью карьеры Кингсмена в Кембридже было изучение классического Трипоса; и в течение трех лет он читал постоянно и со все возрастающим вниманием, помня об этой цели. Обычно считалось целесообразным иметь "тренера"; но опыт заставил меня усомниться в том, что для тех, кто знал, как управлять своим собственным чтением, и обладал необходимой настойчивостью, обращение за такой помощью не было пустой тратой времени; хорошая "шпаргалка" была гораздо более быстрым и эффективным инструктором. Более того, некоторые "тренеры" временами были склонны к лени и откладывали посещение занятий своими учениками, возможно, под предлогом того, что им нужно было на день уехать в Лондон или их отозвали какие-то не менее важные дела; и теперь, по странной случайности, мы, которые в Итоне были бы только рады, если бы наши наставники постоянно уклонялись от своих обязанностей, стали, в свою очередь, прилежными, и, поскольку сами платили за обучение, были недовольны, если бы его не получали! Один современник мой король был настолько расстроен своим "тренера" небрежностью, что он написал ему письмо-протест, скорее печально, чем сердито, и привел его в ярость процитировать несколько слов из Фукидида (οἱ δὲ προλαβόντες τὸ ἄγούριον), в открытом намек на тех, кто получает свой гонорар, а потом пренебрежем заработать.

Молодые люди часто не осознают чувствительности старших и поэтому говорят и делают вещи, которые причиняют больше боли, чем предполагалось. В те чересчур щепетильные довоенные дни мы были недовольны значительным количеством сланца и щебня, которые продавались нам вместе с нашим углем; и один из сослуживцев Кингсмена однажды попросил меня сопровождать его к торговцу углем, которому он предложил вернуть полную корзину отходов, о

которых шла речь. Предвидя забаву, я пошел; но сцена, которая последовала за этим, была скорее печальной, чем забавной, потому что глава фирмы, почтенного вида седовласый старик, случайно оказался в конторе, и когда ему через прилавок передали заменители угля, он был так разгневан, что его рука прямо-таки тряслась от страсти. Какими бы дикарями мы ни были, мы ушли довольно раскаявшимися.

Однако в то время был один Кингсмен, мой ученик на последнем курсе, который был неприятно известен своей безжалостной дьявольщиной, с которой он расправлялся с любым несчастным, которого случай отдавал в его власть. Говорили, что его портной по ошибке прислал ему счет, который уже был оплачен, и ему было приказано уладить дело под страхом увольнения. Он так и сделал, и тогда оскорбленный клиент сказал ему: “А теперь я все равно вас увольняю”. В другой раз это был сломленный жизнью священник, которому не повезло обратиться к этому молодому джентльмену за денежной помощью: нельзя было упустить такую редкую возможность. “Я полагаю, вы верите в Бога”, - сказал студент. Священник не мог опровергнуть это. “Тогда я подброшу монету, - сказал другой, - и если ты правильно закричишь, я буду знать, что ты заслуживаешь помощи”; и тотчас же он подбросил монету, и священник крикнул — “орел” или “решка”, в зависимости от обстоятельств. Но, к несчастью для бедного пилигрима, Кингсмен был искусным манипулятором монетой в подобных рискованных ситуациях, и результат никогда не вызывал сомнений. Высочайший авторитет доказал, что нищенствующий был недостойн этого.

Но вернемся к классическому Трипо. Тренированные или нет, мы, наконец, подошли к этому великому выпускному экзамену, своего рода Судному дню в миниатюре, который для некоторых из нас окажет важное влияние на нашу дальнейшую жизнь. Экзаменационная система по-разному открыта для критики, и недостатка в критиках ни в коем случае не было, но не нужно отрицать, что интеллектуальная польза во многих случаях может быть результатом постоянных усилий по подготовке к очень сложному тесту, требующему тщательного изучения ведущих авторов-классиков. Но самое весомое обвинение против университетского образования — это то, которое реже всего находит выражение, - что обучение, которое укрепляло бы только интеллект и не питало сердца, в основном является бесплодным и нерентабельным, культурой *нелюдей*. Кроме как от Ф. Д. Мориса, за четыре года моего пребывания в Кембридже я никогда не слышал — ни от проповедника, ни от профессора, ни от лектора, декана или доцента — ни малейшего упоминания о высшей социальной этике, без которой не может быть настоящей культуры и истинной цивилизации.

Я со стыдом вспоминаю, что однажды меня так тронула витиеватая риторика декана Фаррара в миссионерской проповеди, произнесенной перед университетом, что я внес вклад в пожертвование, который с трудом мог себе позволить. День или два спустя, когда ко мне вернулось здравомыслие, я почувствовал силу пословицы о том, что “дураки со своими деньгами скоро расстаются”, и я увидел, что посылать миссии в другие страны было хуже, чем безумие, когда дома мы сами были немногим лучше язычников. Коварство этого ложного религиозизма заключалось в том, что он уменьшал шансы на какое-либо подлинное пробуждение совести к фактам, которые стояли перед нами лицом к лицу. Нас заставили изучать фантастические “Свидетельства” Пейли, в то время как свидетельства природы, человеческого сердца и реальной жизни были тщательно спрятаны.

В Tripos 1875 года старшим классиком был мистер Пескетт, который по праву принадлежал предыдущему классу, но из-за болезни или по какой-либо другой причине “опустился” до нашего и таким образом лишил моего друга мистера Артура Тилли чести, которая по праву должна была принадлежать ему. Доктор Дж. Гоу, директор Вестминстерской школы, был третьим; пятое место разделили мистер Джеральд Бальфур и я.

В те дни у директоров Итонов был обычай привлекать ассистентов в основном из Королевского колледжа: так, Королевский стипендиат Итона, получив степень в Кембридже, часто возвращался в школу в качестве классического ассистента магистра и таким образом завершал академический тур. Этот процесс, возможно, можно было бы сравнить с тремя стадиями жизни бабочки, но с пересечением первой и последней фаз. Мы *начинали* как веселые итонские насекомые, чье невежество было блаженством; а затем, пройдя через период куколки у Кэма, вновь появлялись на берегу Темзы, превратившись в гусениц, известных в местных краях как “клювы”, и с тех пор обычно довольствуемся тем, что спокойно ползем по бескрылому, но сытному пути. Но даже червяк, как мы знаем, переворачивается; и, как должно быть сказано в следующей главе, некоторые из личинок временами бывают настолько бессознательны, что вбивают себе в голову новые и тревожащие мысли.

IV

ОТКРЫТИЕ

“Да ведь это же каннибалы!” воскликнул Тоби. “Согласен, — ответил я, — но более джентльменского и дружелюбного набора эпикурейцев не существует”. - Герман Мелвилл.

ЧТО чувствует браконьер, превратившийся в егеря? Я думаю, они должны быть похожи на те, которые бывают у юноши, который, проучившись несколько лет в университете, возвращается учителем в школу, которую он покинул мальчиком. *Quantum mutatus ab illo!* Сама сцена та же, но роль, которую он должен в ней сыграть, теперь в значительной степени поменялась местами; и ирония ситуации заключается в том, что, хотя отныне он является поборником закона и порядка, в глубине души он, возможно, все еще сочувствует нарушителям, которым его долг сделать выговор.

Быть вызванным доктором Хорнби в качестве ассистента, причем за несколько дней (его приготовления часто делались в отчаянной спешке), означало быть совершенно неожиданно брошенным на произвол судьбы; поскольку, получив назначение, он больше не проявлял интереса к этому делу и даже не потрудился выделить классную комнату, в которой его последний лейтенант должен был преподавать: то, что количество отделений превышало количество комнат, было мелочью, которая не привлекла его внимания. Поэтому новичок должен был считать себя довольно везучим, когда ему удавалось обеспечить себе на первый-два семестра даже такую плохо оборудованную для образовательных целей квартиру, как нечто вроде чулана, расположенного под лестницей, ведущей в комнату директора, и в народе известного как “Собачья конура”. Здесь, с классом примерно из сорока мальчиков, предстояло приятно провести летнее школьное время.

Это было странное ощущение, которое, я полагаю, испытывали все учителя больших классов, оказавшись лицом к лицу с сомкнутыми рядами мальчиков, чьи лица были совершенно

незнакомыми, хотя их имена были внесены в список, который лежал, как карта, на столе. Требовалось некоторое время, прежде чем каждое имя можно было правильно соотнести с лицом; и в этом процессе любая аномалия черт лица или размера у индивидуумов, которая могла бы служить ориентиром, была большим подспорьем. Рыжеволосый мальчик или толстый мальчик служил акцентом в ряду; и эту классификацию мальчиков (я забыл, кто ее составил) на мясомордых и мучнистомордых следовало иметь в виду.

Таковы были условия, при которых учитель Итона в те дни начинал свою карьеру — запертый в Собачьей конуре с ордой молодых варваров, которых в сложившихся обстоятельствах было едва ли возможно проинструктировать и не очень легко контролировать. В Итоне, как, несомненно, и в других государственных школах, было несколько магистров, у которых был настоящий дар к преподаванию; также были и такие, как наш друг “Суэйдж”, которые были неспособны поддерживать какое-либо подобие авторитета. Между этими двумя крайностями находились те, подавляющее большинство из нас, кто, несмотря на вежливое и уважительное обращение мальчиков и на то, что у них были приятные отношения с ними, не могли, по правде говоря, льстить себя надеждой, что, за исключением особых случаев, они преодолели естественную склонность детства к праздности. О недостатках итонской системы написано так много, что здесь достаточно сказать, что, хотя репутация умных мальчиков поддерживалась несколькими учениками, в основном королевскими стипендиатами, основная часть школы была непреклонно ориентирована на другие занятия, кроме умственных.

Общий тон школы не остался равнодушным и к самим мастерам. Правда, в штате доктора Хорнби было несколько прекрасных ученых, знатоков не только классической литературы, но и различных областей знаний; однако во многих случаях эти одаренные специалисты казались столь же бесхитростными в своих взглядах на жизнь, сколь и искусными в своей конкретной области. “Чертов дурак, питающий пристрастие к классике”, — так слишком бесцеремонно охарактеризовал одного из них саркастичный знакомый; и эпиграмма, какой бы предосудительной она ни была по выражению, попала в точку. Знание — это не мудрость; и эта академическая образованность часто сочеталась с узким и педантичным духом, который слепо поддерживал старый порядок вещей и возмущался любым признаком перемен. Например, был один ученый учитель, который в те мирные годы утверждал, что Англия больше всего нуждалась в войне — в жестокой войне с ожесточенными боями; и это были своего рода безрассудные разговоры, которым часто позволяли заниматься самые воспитанные люди, которым самим ничего не грозило, кроме как сменить мантию на шпагу.

Новые идеи в Итоне были под запретом, несмотря на благовидные приглашения некоторым выдающимся людям выступить с лекциями перед школой. Гладстон, Арнольд, Раскин, Моррис и Лоуэлл были среди тех, кто обращался к мальчикам в школьной библиотеке; и поучительно отметить прием, который был оказан каждому из них. Лоуэлл был самым популярным; его жизнерадостное утверждение о том, что наш мир, в конце концов, “неплохой мир для жизни”, было восторженно воспринято аудиторией, у которой были веские личные причины разделять такое мнение: Уильям Моррис, с другой стороны, рискнувший ступить на опасную почву социализма, был освистан. Гладстон благоразумно придерживался безупречной темы Гомера, а степенного вида Мэтью Арнольда с его бакенбардами “баранья отбивная” и механическим наклоном головы в соответствии с медленным ритмом фраз было достаточно, чтобы усыпить любые коварные сомнения в его респектабельности. Как оратор Раскин намного превосходил

остальных; его ясный ход мыслей и чистый, музыкальный голос могли очаровать аудиторию, даже мальчиков из Итона, на целый час.

Лекции по естественным наукам составляли еще одну ветвь интеллектуальных развлечений, которые предоставлялись школе; но в то время наука все еще была в тени. Я помню название лишь одной дискуссии, и то только потому, что мне посчастливилось пролить некоторый свет на геологическую проблему, которой она касалась. Я жил в маленьком домике (когда-то известном как “У Друри”), у которого с обеих сторон были гораздо более высокие дома; и поскольку у мальчишек из соседних домов вошло в привычку бомбардировать друг друга любыми попадающимися под руку снарядами или минералами, мой сад превратился в своего рода “нейтральную полосу” между двумя соперничающими крепостями, и его поверхность обогатилась самыми разнообразными отложениями. Поэтому, когда была объявлена лекция по вопросу: “Найдут ли уголь в долине Темзы?” Я смог положительно решить эту проблему, изготовив на своих собственных предприятиях несколько удивительно прекрасных образцов.

Несомненно, доктор Хорнби был бы шокирован, если бы кто-нибудь предположил, что в этой самой консервативной из школ отсутствует религиозное обучение. Церковных служб там было предостаточно; и урок греческого Языка в понедельник утром; и “Воскресные вопросы”, на которые нужно было отвечать письменно; и “Воскресное частное”, которое можно было посещать в комнате для учеников Учителя; и молитвы каждый вечер в каждом доме. И все же общий тон Итона был далек от религиозности, даже в общепринятом значении этого термина; поскольку множество поверхностных обрядов не влияли на глубокую мирскую атмосферу этого места. Это была Ярмарка Тщеславия как по воскресеньям, так и в будние дни. В Итоне рассказывали о слуге из частной семьи, который, когда прозвенел звонок к вечернему богослужению, воскликнул усталым голосом: “О боже! Почему у джентри есть молитвы?” Упоминание о “джентри” показывает, в каком свете рассматриваются подобные церемонии внизу. Точно так же мальчики рассматривают религиозное преподавание в школах как навязанное им в целях дисциплины.

Не только мальчики находили богослужения в часовне очень утомительными; большинство учителей были мирянами, многие из них неортодоксальными, и для них было неприятной обязанностью подвергаться преследованиям как по воскресеньям так и в Дни Святых ради соблюдения приличий перед школой. Иногда подсчитывается количество лет, проведенных в тюрьме каким-нибудь закоренелым преступником или “тюремной птицей”. Почему никто не говорит нам, сколько часов, равняющихся скольким годам, какой-нибудь ревностный прихожанин церкви или пташка на церковной скамье потратил на такие богослужения? Не претендуя на это различие, я подсчитал, что за примерно двадцать лет, проведенных в государственной школе и университете, я провел несколько тысяч часов в церкви.

Человеческая натура не могла не раздражаться при пугающей скучности и длительности проповедей в часовне Итонского колледжа. доктор Гудфорд, ректор, был своего рода олицетворением Рока; когда однажды он поднимался на кафедру, он был, так сказать, в седле и доводил свою паству почти до отчаяния своими безжалостными проповедями, произносимыми тем гудящим голосом с его непрекращающимся *раскатом* и неизбежной каденцией, который стал для поколений итонцев таким же знакомым, как сам колокол Часовни. Едва ли менее устрашающими были некоторые из старших товарищей, учителей на пенсии, такие как епископ Чепмен и преподобный Джон Уайлдер, которых часто отпускали на волю воскресным утром, и

они беспечно воспользовались случаем: это был их выходной, и они вышли повеселиться, совершенно не подозревая, что то, что для них было благочестивым развлечением, было смертью для их невольной аудитории. Неудивительно, что некоторые помощники мастера боялись недель, когда они были на дежурстве (это называлось “за партой”); но, по воле провидения, были и другие, которым еще больше не нравился труд исправления латинских стихов, и они были готовы обменять “стихи” на “парты”; то есть они занимали столько-то парт коллеги, в то время как он взамен просматривал оговоренное количество упражнений. Так Муза пришла на помощь своим преданным:

Так я служу Аполлону.

Возможно, самой странной формой, которую принимала религия в Итоне, было миссионерское рвение; у нас периодически проводились проповеди о том, как нести Евангелие “язычникам”; хотя, если когда-либо и было темное место на земле, то это была та приятная школа на берегу Темзы. Некоторых мальчиков временами охватывала страсть обращать в свою веру: однажды чрезвычайно скучный и праздный юноша, недавно покинувший Итон, написал мне, как своему бывшему наставнику, что решил стать миссионером “для бедных погибающих язычников” — в его случае китайцев, народа гораздо менее невежественного и варварского, чем многие из их самозванных спасителей.

“Богословие” было одним из предметов, наиболее поощряемых в Итоне; можно было подумать, что это учебное заведение для теологов, судя по тому, какое внимание на экзаменах уделялось этой конкретной области обучения. Результат, как и следовало ожидать, был тот же, что и при написании латинских стихов: несколько мальчиков стали знатоками библейского словаря, в то время как основная часть школы едва продвинулась дальше той ступени библейских знаний, которую продемонстрировал некий итонец, который, когда его пригласили написать рассказ о святом Иакове Старшем и святом Иакове Младшем, смог дать краткое описание Старейшины, но в случае с Меньшим святым ограничился довольно неадекватным, хотя пока и правильным утверждением, что “Другой был другим”.

Возможно, в Итоне мы несколько переборщили со Святыми: преподаватели, которым приходилось задавать воскресные вопросы, почти так же устали спрашивать о святых Петре и Павле, как мальчики - отвечать; и на проповедях в Часовне мы год за годом страдали от всей этой Агиологии, пока некоторые из нас, надо признаться, не вздохнули втайне:

Когда лучи Разума, озаряющие все,
Обратят Святых в бегство,
И святость Петра померкнет,
А святость Павла иссякнет.

Но если христианство было номинальной религией в Итоне, то настоящим кредо была Респектабельность. Поступать “подобающим образом”; не нарушать ни один из общепринятых канонов; одеваться, ходить, говорить, есть и жить в соответствии с требованиями “хорошего тона” — это была постоянная обязанность, которой ни мальчик, ни учитель не могли пренебречь. Любая оплошность в вопросах этикета расценивалась как смертельно опасная. Об одном из хозяев, хорошем и достойном человеке, но очень близоруком, ходили мрачные слухи,

что по трагической ошибке на Хай-стрит он снял шляпу перед своим поваром: это было не так ужасно, как если бы он не выполнил этот акт вежливости в каком-нибудь случае, когда это требовалось.

Как обычно в варварских обществах, количество вещей, на которые было наложено “табу”, было значительным. В начале восьмидесятых велосипед и трехколесный велосипед вызывали неодобрение не только у мальчиков, но и у учителей; и одна леди, живущая в Итоне, однажды получила от миссис Хорнби, которая, конечно же, была во главе Моды, сообщение о том, что ездить на трехколесном велосипеде - “нехорошее занятие”. Тем не менее, для мальчиков было приятно охотиться и “загонять” зайцев. Однажды я был свидетелем добродетельного негодования одного из учителей, священника и последователя итонских гончих, когда директору сообщили о каком-то довольно “сомнительном” инциденте на охоте; но доктор Хорнби вскоре уладил дело, объяснив, что, поскольку вся охота была жестокой, он, очевидно, не мог обратить внимания на какую-то конкретную халатность. Это были рассуждения такого рода, с помощью которых любые попытки очеловечить итонские обычаи пресекались.

Однако новые идеи не могли быть полностью исключены даже из этого оплота старины; фактически, среди сотрудников Хорнби было несколько человек, которые придерживались взглядов, слишком передовых, чтобы их можно было признавать в такой обстановке. Одним из наименее предубежденных людей в Итоне был преподаватель французского языка месье Рубло, который был близким другом своего немецкого коллеги герра Грибея; и приятно вспомнить тот факт, что во время ужасов франко-германской войны, примерно за десять лет до того периода, о котором я рассказываю, эти два “врага” сохранили свою дружбу нерушимой, и их можно было видеть ежедневно прогуливающимися вместе, как будто их соотечественники не были безумно заняты тем, что перерезали друг другу глотки.

Среди преподавателей классической школы двумя наиболее просвещенными людьми, обладавшими огромным личным обаянием, были мистер Э. С. Шакбург, впоследствии преподававший в Эммануэль-колледже в Кембридже, и преподобный Дункан Тови, который несколько лет спустя получил образование в Итонском колледже в Уорпледоне. Шакбург, хотя сам был самым нетерпимым к старым традициям и во многом симпатизировал новой мысли, обладал очень критическим складом ума и любил в целях аргументации останавливаться на трудностях и недостатках реформ, которые некоторые из нас отстаивали. Тови был литератором (хорошо известны его работы о Грее и Томсоне), не в своей тарелке в таком месте, как Итон, но в более счастливом настроении был самым восхитительным собеседником. Миссис Тови тоже обладала искрометным остроумием, которое могло легко обойти аномалии итонской жизни. Однажды она составила очаровательный список вымышленных художественных книг, авторство которых приписала различным местным знаменитостям: одно из произведений, предполагаемое творение итонского обойщика, известного своими большими счетами, имело название, которое могло бы принести состояние современному философскому романисту: “Время человека; тайна”.

Некоторые из младших мастеров сыграли полезную роль в опровержении старых суеверий. Мистер Дж. Д. Буршье, впоследствии известный корреспондент *The Times* в юго-Восточной Европе, был первым велосипедистом в Итоне и навлек на себя много нареканий из-за своего упорства в занятиях, которые ни один преподаватель Итона не мог тогда с уверенностью одобрить. Мой шурин, Дж. Л. Джойнс-младший, был еще худшим преступником. На него

произвели впечатление *успехи и бедность Генри Джорджа*, и на летних каникулах 1882 года он отправился с Джорджем в Ирландию. Из-за нелепой ошибки ирландской полиции эти двое были арестованы и заключены под стражу как опасные заговорщики; и, хотя они были быстро освобождены, когда магистраты обнаружили ошибку, вся пресса страны разразилась веселыми комментариями. Правительству пришлось извиниться перед Генри Джорджем как американскому гражданину; а отчет о фиаско, написанный Джойнсом и опубликованный в *The Times*, вызвал большой скандал в итонских кругах, где публичность не без оснований считалась чем-то, чего следовало избегать. Велик же был ужас итонских властей, когда несколько недель спустя реклама объявила о готовящемся издании книги Джойнса "*Приключения туриста в Ирландии*". В спешке директор сообщил ему, что он должен выбирать между своим мастерством и книгой: он выбрал последнее и подал в отставку. Это было результатом, как указал мне патриотически настроенный коллега и друг, проявления внимания к "заплесневелому американцу". Таким образом, лишившись высокого положения итонского магистра, Джойнс стал лидером Социал-демократической федерации; и он познакомил меня со многими известными социалистами, чьи имена будут упомянуты позже.

За шестнадцать лет своего директорства доктор Хорнби уволил не менее четырех ассистентов и сам временами был вовлечен в серьезные конфликты с Руководящим советом. Слабый человек, он был упрям до последней степени, когда однажды ввязался в спор; о чем свидетельствовала его решимость избавиться от мистера Оскара Браунинга, который, каковы бы ни были достоинства их ссоры, был гораздо ценнее для Итона, чем сам Хорнби. Не было широко известно, что три других помощника мастера подали в отставку в знак протеста против увольнения мистера Браунинга; крайне необдуманный шаг, потому что тогда дело дошло до того, что либо Хорнби, либо Браунинг должны были уйти. Заявления об отставке были приняты, и трем мятежникам пришлось попросить разрешения отозвать их, что они и сделали со всей любезностью, на какую были способны. Таким образом, директор восторжествовал; но эта победа не принесла ему особой славы, и это был счастливый день для Итона, когда после смерти доктора Гудфорда он был назначен на должность ректора в 1884 году.

Доктор Уорр, сменивший доктора Хорнби, был подобен королю Аисту, последовавшему за королем Логом: как будто школа после долгого периода "поступай, как знаешь" внезапно оказалась под властью военной диктатуры. Уорре едва не был назначен директором в 1868 году; и хотя во время правления Хорнби он продолжал преданно служить в качестве помощника, было очевидно, что его раздражало наблюдать нервозность и нерешительность, с которыми осуществлялось управление школой: я слышал, как он на "собрании учителей" обратился к доктору Хорнби в выражениях, которые, какими бы уважительными они ни были по форме, содержали упрек, который вряд ли мог остаться незамеченным: "Будет ли директор настаивать на сохранении своего правления? Вы вытащите нас наверх, сэр, если мы пренебрежем этим? Мы слушали с удивлением, прекрасно зная, что Хорнби сам был бы первым, кто нарушил бы свое собственное правило, если бы оно требовало пунктуальности или настойчивости.

Одним из первых нововведений доктора Уорре было личное посещение различных подразделений во время урока; очень правильный курс, но он вызвал шок у помощников учителя того времени, которые привыкли считать свои классные комнаты, подобные дому англичанина, вошедшему в поговорку, своими "замками". Каждый из нас не без тревоги гадал, когда же настанет его очередь. Когда настала моя очередь, я был избавлен от длительного осмотра из-за инцидента, который был столь же забавным, сколь и непредвиденным. Так

случилось, что соседнюю комнату в тот день занимал коллега, который был совершенно неспособен следить за порядком; и поскольку ни несчастный, ни его буйное Подразделение не знали, что директор находится так близко от них, я едва начал урок, как из соседней комнаты поднялся ужасающий шум — визг, свист, взрывы смеха, топот ног, в общем, шум сумасшедшего дома. Махнув мне рукой, директор быстро выскользнул из комнаты; и мгновение спустя я понял, что произошло, не по слуху, а по мгновенному *прекращению* звуков, потому что этот дикий рев прекратился так внезапно, как будто его обрубили топором, и на смену ему пришла глубокая тишина, более красноречивая, чем слова.

Несколько дней спустя доктор Хорнби, новоиспеченный ректор, подошел к небольшой группе учителей, стоявших возле школьного двора, и с улыбкой спросил нас, прошли ли мы уже “проверку”. “Я рад, - добавил он со вздохом облегчения, - что они не стали проверять *меня*”.

Доктор Уорр во всех отношениях был противоположностью доктору Хорнби. Гораздо менее чувствительный и утонченный, он испытывал гораздо больше искренней симпатии, если не к учителям, то, во всяком случае, к мальчикам, и под грубой внешностью во многих случаях проявлял практическую доброту, которой совершенно не хватало его предшественнику. Например, постановка “георгики” (то есть написание 500 строк Вергилия), одного из самых бессмысленных наказаний, модных в то время, Хорнби всегда поощрял. Когда Уорре услышал замечание помощника учителя о том, что он “ищет возможности” поставить “Георгик” беспокойному мальчику, он перебил его словами: “Вам следует остерегаться, *не* ставить ему “Георгик””. У него было то доброе понимание детства, которое имеет огромную ценность для учителя; и с точки зрения тех, кто считает Итон идеальной школой и “центром” вселенной, трудно представить, как можно было найти лучшего директора, чем доктор Уорре; но он был хорошим учеником. Тори самого строгого толка, и его назначение означало отсрочку реформ на неопределенный срок.

Теперь сказано достаточно, чтобы показать, почему десятилетнее пребывание в качестве магистра в Итоне, вероятно, привело к разочарованию, даже если внешние влияния не ускорили процесс. Социализм уже тогда “вital в воздухе”; и личное знакомство с Бернардом Шоу, Эдвардом Карпентером, Х. М. Гайндманом, Генри Джорджем, Уильямом Моррисом, Джоном Бернсом, Х. Х. Чэмпионом, Белфортом Баксом и другими апостолами того, что тогда называлось “революцией”, не было рассчитано на то, чтобы укрепить колеблющегося в чистой итонской вере. Еще раньше, во время зимних каникул 1878-79 годов, я познакомился в Конистоне, в Озерном крае, с горячим учеником Рескина, мистером Уильямом Харрисоном Райли, который придерживался коммунистических взглядов; и в ходе нескольких длительных прогулок с ним по горам, в которых я выступал в качестве его гида, он с лихвой отплатил за это, открыв мне глаза на некоторые факты, которые я ранее упускал из виду. Он принес мне послание из другого мира.

Этот Райли, при всем своем пламенном рвении, был человеком трогательной простоты. В то время он работал на земле Раскина, на ферме Сент-Джордж, недалеко от Шеффилда, и приехал в Конистон, чтобы навестить Мастера, к которому испытывал почти детское благоговение. По приглашению мистера Раскина я сопровождал Райли на ленч в Брантвуд и был очень поражен встречей этих двоих — преданностью последователя и сердечностью мудреца. Ранним утром Райли, который был немало удивлен пышностью зелени в Конистоне по сравнению с серым запустением Шеффилдских холмов, поделился со мной своим намерением преподнести в

подарок Раскину пучок мха с верхушки стены возле отеля; но поскольку в округе едва ли была стена, которая не была бы покрыта подобным образом, я как можно деликатнее предположил ему, что это может быть случай перевозки “угля в Ньюкасл”. Не обращая внимания на подобные намеки, он подошел к двери Раскина с большим свертком мха и торжественно вручил его, как только были завершены первые приветствия. Восхитительное очарование манер Раскина проявилось в этом маленьком инциденте: он рассмеялся — ибо кто бы мог удержаться от смеха? — но все же принял подарок — и сменил тему разговора - с любезностью, которая не могла не ранить. Несколько лет спустя Райли эмигрировал в Массачусетс, но забрал с собой свой неутолимый пыл к "правому делу". Последнее письмо, которое я получил от него, заканчивалось словами: “Моя слабая рука все еще высоко держит знамя идеала”.

Я помню, что одной из тем, на которые рассуждал Раскин, была поэзия Теннисона, которого большинство людей, особенно *литераторы* Итона, все еще считали мыслителем необычайной силы. По словам Раскина, он был примером того, “кто под надлежащим руководством мог бы сделать что-то великое”; как бы то ни было, он не написал ничего по-настоящему ценного, за исключением, возможно, *In Memoriam. Мод и принцесса* были “бесполезны”, *Енох Арден* “отвратителен”; герой *Мод* “осел и дурак”, а дух войны в стихотворении “откровенно озорной”. Таким образом, снова была подорвана простая вера преподавателя Итона, который знал наизусть большую часть поэзии Теннисона, включая всю *Мод*.

В дополнение к таким опасным доктринам, в Итоне теперь начали слышать о вегетарианстве; и это было в одном отношении худшей ересью, чем социализм, потому что его нужно было не только проповедовать, но и практиковать, а воздержание от мясной пищи не могло не привлечь неблагоприятного внимания. В то время среди магистров Итона был выдающийся ученый, доктор П. Х. Карпентер, сын доктора У. Б. Карпентера; и когда он выразил желание поговорить со мной о новой диете, которую, как он слышал, я принял, я почувствовал, что наступил критический момент, и как новичок в вегетарианской практике я с некоторым благоговением ожидал научного заключения. Когда это прозвучало, произнесенное с дружеской серьезностью, это было так: “Вам не кажется, что животные были *посланы* нам в качестве пищи?” С тех пор я слышал один и тот же трогательный вопрос, задаваемый множество раз. Что можно сказать в ответ на него, кроме того, что счет еще не получен?

Книга редкостного достоинства, наполненная разнообразным запасом фактов о проблеме питания в связи с гуманистической мыслью, - это “*Этика диеты*” мистера Говарда Уильямса, которая тогда выходила частями в журнале Вегетарианского общества. Мне посчастливилось лично познакомиться с мистером Уильямсом, что стало началом ценной дружбы; у меня также была полезная переписка с профессором Ф. В. Ньюманом, тогдашним президентом Вегетарианского общества, и с профессором Дж. Э. Б. Майором, который впоследствии занял этот пост. Вооруженный таким образом, я не был сильно впечатлен доказательствами “невозможности” более гуманной диеты, которые предложили мне дружелюбные коллеги; и я не был обеспокоен, когда из двух медиков, с которыми я был знаком в Итоне, один сказал мне: “Хорошо, я дам тебе два года”, [12], а другой, довольно глупый человек, которого мальчишки привыкли считать позвонив “Мэри”, спросила с выражением озадаченного отчаяния при виде такого невероятного безумия: “Вегетарианцы едят мясо *на ночь*?” В те дни в Итоне вегетарианец, конечно, считался явным сумасшедшим. Двадцать пять лет спустя директором Итона стал вегетарианец в лице доктора Эдварда Литтелтона, который был там ассистентом в

восьмидесятые. “Вот уж не думал, - писал он мне, - когда мы дразнили вас по поводу капусты, что дойдет до такого!”

Случилось так, что в один из тех лет на мою долю выпало задать тему для “Декламаций”, латинскую тему по какому-то спорному вопросу, которую должны были сочинять и “произносить” ежегодно двое шестиклассников, занявших противоположные стороны в дискуссии; и я выбрал в качестве темы, скорее к неудовольствию доктора Хорнби, вопрос вегетарианства (*An Pythagorei qui carne abstinent laudandi sint*). Другим каналом пропаганды вегетарианства было Общество Ашама, образованный и избранный орган, организованный некоторыми мастерами, которые периодически встречались для чтения и обсуждения статей на этические и литературные темы. Случилось так, что члены клуба были гостеприимно приглашены на обед одним из их коллег, который специально объявил блюдо с жареной телятиной в качестве угощения: спровоцированный таким образом, я не мог не отказаться от угощения в общепринятой итонской манере, от набора латинских стихов, вывод из которых был очевиден: Пощадите теленка, или позволите мне освободиться:

Si non vis vitulo parcere, parce mihi.

Таким образом, постепенно мне навязали убеждение, что мы, итонские преподаватели, каким бы безупречным ни было наше окружение, всего лишь каннибалы в шапочках и мантиях — почти буквально каннибалы, поскольку пожираем плоть и кровь высших нечеловеческих животных, столь близкородственных нам, и косвенно каннибалы, поскольку живем в поте лица тяжелым трудом тех классов, которые выполняют тяжелую мирскую работу.^[13] Говорить об этом с какой-либо полнотой в таком обществе, как Итон, за исключением двух-трех друзей, которые придерживались схожих убеждений, было бы абсурдом; и я не думаю, что преувеличивал в первой главе этой книги, когда описывал открытие как приносящее с собой ощущение того, что ты отрезан от соседей бесконечными лигами отчуждения. непонимание. Я жил в *partibus infidelium*. Стало необходимо покинуть место, где не могло быть сочувственного обмена мыслями по вопросам, которые считались гораздо более важными, чем общепринятая религия и рутина.

Я дорожу воспоминаниями об интервью, во время которого я прощался с доктором Уорре. Он очень любезно выразил свое сожаление по поводу того, что я потерял веру в систему государственных школ, которой он сам, как известно всем итонцам, посвятил всю свою жизнь беспощадному служению. “Это вегетарианство”, - серьезно заметил он; и я понял, что он имел в виду отказ от ортодоксальной диеты, который привел, из-за неизбежного ослабления *mens sana in corpore sano*, к моему отступничеству в отношении Образования. Когда я сказал ему, что социализм должен взять на себя свою долю вины, поскольку был, по крайней мере, вспомогательной причиной, он был действительно потрясен. “Социализм!” - воскликнул он своим сердечным тоном. “Тогда взорвите нас, взорвите нас! Ничего другого не остается, кроме этого”.

Странно размышлять о том, что между тридцатью и сорока годами назад простое упоминание социализма должно было наводить на мысль об отчаянных актах насилия: тогда этот термин до поры до времени был пугалом уважаемых классов, которые всегда держат под рукой

какое-нибудь удобное пугающее словечко, чтобы поднять тревогу. С тех пор “анархизм” отслужил свой черед; “большевизм” - новейший. Чего-то бояться, что-то ненавидеть, кажется, является необходимым требованием; отсюда периодические вспышки воинственных криков и помешательства на порке; не имеет большого значения, что это за пугало, пока существует своего рода вендетта, даже если это всего лишь отвлекающий маневр, кампания против воробья или крысы. Нет более верного признака варварского разума, чем это капризное состояние паники, описанное Джорджем Мередитом как “ночной шторм и пальцы, жаждущие дотянуться до веревки звонка”.

Моей единственной невосполнимой потерей при уходе из Итона была не потеря культуры, учености или социального положения, а потеря игры в пятерки; ибо я привык думать, что эволюция итонской площадки для игры в пятерки, первоначальной из которых было выложенное плиткой пространство между двумя контрфорсами часовни (“Не облагайте королевскую святую напрасными расходами”), была самым ценным вкладом, когда-либо внесенным школой в благосостояние человечества. Файвз - великая игра; и играть в нее с такими мастерами, как Энджер, Э. К. Остин-Ли, Эдвард Литтелтон или К. Т. Стадд, было привилегией, которую нельзя было ни забыть, ни заменить. Впоследствии мне иногда снилось, что я снова участвую в игре — возможно, “подаю”, или принимаю подачу, или наслаждаюсь дуэлью длинных размашистых ударов на внешней площадке, или участвую в одном из тех розыгрышей рукопашного боя, которые сосредоточены вокруг “перечницы”; пока точный удар с той или иной стороны не отправит мяч на его место в “лунке мертвеца”.

Моим прощальным подарком школе была статья, озаглавленная “Исповедь учителя Итона”, которая появилась в *"Девятнадцатом веке"* в январе 1885 года и вызвала бурную дискуссию об итонской системе образования.

Против

СОВЕСТИ КАННИБАЛА

Если бы кто-нибудь воспитывался с младенчества в темной пещере до совершеннолетия, а затем внезапно был бы выведен среди бела дня ... несомненно, в его уме возникло бы множество странных и абсурдных фантазий.—Из книги Бэкона *"Развитие знаний"*.

“Вы считаете меня каннибалом?” - это замечание часто делает жизнерадостный любитель мяса, наслаждаясь ростбифом в присутствии вегетарианца; и нельзя отрицать, что именно такая мысль обычно напрашивается сама собой, поскольку более высокоразвитые нечеловеческие животные очень близки к человеку. “Мы не едим негров, - говорит мистер У. Х. Хадсон, - хотя их пигментированная кожа, плоские ступни и покрытые шерстью головы говорят о том, что они принадлежат к другому виду — даже мясо обезьяны вызывает у нас отвращение просто потому, что мы воображаем, что это существо в своем уродстве напоминает некоторых знакомых нам стариков, женщин и детей. Но нежная социальная корова с большим мозгом ... мы убиваем ее и питаемся ее мясом — монстры и каннибалы, которыми мы являемся”. Тогда не нужно извиняться за заголовок этой главы. Существует очень реальное сходство не только между антропофагией и другими формами плотоядного питания, но и между оправданиями, предлагаемыми каннибалами, и теми, которые предлагают плотоядные.

Сорок лет назад возможность здорового образа жизни на диете, не содержащей мяса, ни в коем случае не признавалась так широко, как сейчас; и, следовательно, против воздержания от мясных продуктов выдвигались очень наивные и бесхитростные возражения. Мистер Киган Пол рассказал мне, что однажды он слышал, как одна леди сказала Ф. В. Ньюману: “Но, профессор, разве вы не чувствуете сильную слабость?” на что профессор твердо ответил: “Мадам, потрогайте мои икры”. “На что, черт возьми, вы живете?” - частым вопросом в Итоне в те дни был намек на отсутствие “разнообразия” в вегетарианской диете; забавная жалоба, учитывая то, что Ричард Джеффрис описал как “бесконечное чередование баранины и говядины, к которым нас сводит мертвый уровень цивилизации [так в оригинале]”. Это однообразие в ортодоксальных трапезах настолько очевидно, что *Spectator* много лет назад опубликовал статью, озаглавленную “Требуется новое мясо”, в которой объяснялось что требуется какое-нибудь новое и крупное животное, которое “будет сочетать в себе вкус дичи с солидной твердостью бараньей ноги”. У *зрителя* в итоге выбор пал на Эланд, но не раньше, чем требования других “безнадзорных животных”, среди них бородавка-боров, были добросовестно обсуждали.

То, что совесть каннибалов несколько виновата и им не по себе, очевидно из природы аргументов, выдвигаемых апологетами плотоядного питания; иначе почему доктор П. Х. Карпентер предположил, что низшие животные были “посланы” нам в пищу, когда, как ученый, он хорошо знал абсурдность этого замечания? Почему бы не сказать откровенно то, что Натаниэль Хоторн написал в своем *Блокноте по английскому*, что “лучшее, что может сделать человек, родившийся на этом острове, - это есть говядину и баранину, пить портер, принимать вещи такими, какие они есть, и думать о том, что должно быть настолько мясным, бараньим и мясопродуктивным, что это будут вопросы скорее материальные, чем интеллектуальные”? Безрассудная отвага простого и варварского народа, по сути, неосознанна, точно так же, как бессознательны действия ястреба или ласки, когда они хватают свою добычу; но когда однажды пробуждается сознание и возникает сомнение относительно нравственности поступка, появляется привычка приводить софистические доводы для действий, которые не могут быть оправданы. Герман Мелвилл сообщает нам в своей книге *“Тайпи”*, что полинезийцы, зная об ужасе, который европейцы испытывают перед антропофагией, “неизменно отрицают ее существование и со свойственной дикарям хитростью пытаются скрыть все ее следы”. Существование плотоядного питания отрицать невозможно; но разве мы не видим хитрость дикарей в изворотливых и надуманных причинах, предполагаемых для ее продолжения?

Будет только справедливо по отношению к “благородному дикарю” провести это различие между естественным варварством и изощренным, между реальной необходимостью убивать ради пропитания и мнимой необходимостью. Коммандер Пири, исследователь Арктики, однажды написал в *Windsor Magazine* под заголовком “Охота на овцебыков у полюса” историю о подлинном голоде и выразил сомнение, знает ли хоть один из его читателей, что такое голод. На самом деле он был смертельно голоден, когда в поле зрения появилось стадо овцебыков: “Большие черные животные, “ сказал он, - были не дичью, а мясом, и каждый нерв и фибра в моем изможденном теле вибрировали от дикой жажды этого мяса, мяса, которое должно быть мягким и теплым, мяса, в которое можно вонзить зубы, рвать и раздирать”. Это была дикость, которую, по крайней мере, можно понять и уважать, которой не нужно было постулировать “отправку” быков для пропитания; и все же, как ни странно, историю Пири сочли бы отвратительной во многих респектабельных семьях, которые заказывают “мясо домашнего приготовления” у семейного мясника и нанимают повара, чтобы замаскировать его. Конечно,

если существует “благородный дикарь”, мы должны признать также и низменную разновидность, развившую “совесть”, о которой я говорю.

Этой “совести каннибала” мы обязаны теми восхитительными оправданиями, теми цветами софистики, которые усеивают путь пожирателя плоти и придают юмора в остальном очень ужасной теме. Безусловно, наиболее занимательной из них является то, что можно назвать академической ошибкой, поскольку она, по-видимому, особенно привлекательна для ученых людей — аргумент о том, что убивать и есть животных - это проявление доброты по отношению к самим животным, потому что в противном случае они вообще не были бы выведены и поэтому лишились бы радостей существования. Эта “канонизация людоеда”, как ее называли, была предложена профессором Д. Г. Ричи, сэром Лесли Стивенсом, сэром Генри Томпсоном, доктором Стэнтоном Койтом и другими выдающимися публицистами,^[14] каждый из которых, за единственным исключением доктора Койта, благоразумно уклонился от обсуждения вопроса, когда был указан недостаток в его рассуждениях, а именно . это существование нельзя сравнить с несуществованием. О существовании можно утверждать определенные качества — хорошие или плохие, счастье или несчастье, — но о несуществовании мы вообще ничего не можем утверждать; сначала у нас должно быть действительное основание существования для аргументации, а тот, кто основывает свои рассуждения на несуществующем, строит на коварном песке.

“Свинья больше, чем кто-либо другой, заинтересована в споре на бекон”, - писал сэр Лесли Стивен в своей книге *"Социальные права и обязанности"*. Сэра Лесли неоднократно приглашали выступить с каким-либо ответом на критику, которую вызывало это изречение; но, каким бы отважным поборником интеллектуальной свободы он ни был, в данном случае он предпочел укрыться в молчании. Никому, кроме доктора Стэнтона Койта, философия не обязана полным изложением удобной теории, которую можно выразить (с изменением одного слова) в знаменитых строках Кольриджа:

Лучше всего молится тот, кто *лучше всего* ест
Все, как великое, так и малое.

“Если мотивом, который мог бы обеспечить наибольшее количество самых счастливых коров, - сказал доктор Койт, - было бы поедание говядины, то пока что употребление говядины заслуживает похвалы. И хотя до сих пор мотивом было не сохранение крупного рогатого скота, вполне возможно, что, если вегетарианские убеждения распространятся гораздо дальше, любовь к крупному рогатому скоту (если это не будет психологически несовместимо) смешалась бы в умах противников вегетарианства с любовью к говядине ”.^[15] В соответствии с этим этическим постулатом, как будет видно, человечество продолжит употреблять в пищу коров, овец, свиней и других животных ради сохранения совести — мы должны быть не противниками бойни по соображениям совести, а добросовестными ее *пропагандист*. До сих пор доктор Койт лишь более подробно излагал аргумент, выдвинутый профессором Ричи, сэром Лесли Стивенсом и другими казуистами в области каннибализма; но теперь мы подходим к той “психологической несовместимости”, на которую он ссылался в скобках.

“Но мы откровенно признаем, ” продолжал он, - что возникает вопрос, не уничтожит ли любовь к крупному рогатому скоту, усиленная до воображаемой степени индивидуальной привязанности к каждому отдельному животному, удовольствие от употребления говядины и не

сделает ли этот освященный веками обычай психологически невозможным. Мы предполагаем, что чувство скорби из-за смерти дорогого существа испортит вкус”.

Ничто в споре никогда не доставляло мне большего удовлетворения, чем то, что я почерпнул эту “догадку”, эту бесценную жемчужину из уст доктора Стэнтон Койта в очень серьезных колонках “*Этического мира*”. Я думаю, это ясно показывает, почему его коллеги по “метафизике кладовой” поступили мудро, избегая дискуссий.

Кажется, что так устроена Природа, что те, кто выдвигает альтруистические причины для эгоистичных действий, неизменно выставляют себя на посмеище. “Что будет с эскимосами?” - был один из вопросов, часто задаваемых сторонникам вегетарианства; вероятно, это единственный зарегистрированный случай какой-либо заботы о благополучии этого отдаленного народа. С другой стороны, нас часто спрашивали: “Что стало бы с животными?” Подразумевалось, что при вегетарианском режиме по земле осталось бы большое количество несъеденных и брошенных четвероногих. Мой друг-художник однажды нарисовал забавную картинку, чтобы проиллюстрировать эту “Дилемму пожирателей плоти”. Джентльмен и леди, сидящие за хорошо накрытым обеденным столом, испытывают ужасные неудобства из-за вторжения через дверь оранжереи множества таких ненужных животных: корова просовывает голову в окно; овца хватается за хлеб; свинья играет на полу с кроликом; а вдалеке виден несчастный бык, в отчаянии прислонившийся к садовой калитке.

Таковы некоторые из софизмов, которыми изобилует совесть каннибала. Они принадлежат к тому классу уловок, которые Бэкон обозначил как *eidola specus*, “пещерные идола”, скрывающиеся в самых сокровенных и темных уголках человеческого разума. “Заблуждения пещерного жителя”, возможно, были бы подходящим названием для них, поскольку они, по-видимому, характерны для более примитивного и нецивилизованного разума.

VI

ПРОБЛЕСКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Богатство приобретает за счет чрезмерного влияния на наших соседей и тратится на их оскорбление.—Уильям Годвин.

В восьмидесятых годах существовало два движения, особенно привлекательных для тех, кто порывал со старыми академическими традициями, а именно: социализм, более справедливое распределение богатства; и Упрощение, более разумный образ жизни. Уильям Годвин, во многих отношениях истинный пророк, предвосхитил необходимость обеих этих реформ в своем резком приговоре о *политическом правосудии*.

У упрощения жизни во все века были свои сторонники, но только во времена Руссо и революционной эпохи оно приобрело свое полное значение, когда связь между простой жизнью и более справедливым социальным государством стала очевидной и безошибочной, и стало видно, что роскошь со стороны одного человека должна включать тяжелую работу со стороны другого. “Уолден” Торо, опубликованный в Америке в 1854 году, начал быть известным в Англии примерно тридцать лет спустя; а эссе Эдварда Карпентера, впоследствии собранные в его “*Идеале Англии*” (1887), указывали путь к более мудрому и здоровому образу жизни. Я прочитал некоторые из этих эссе, еще учась в Итоне; и в такой обстановке они вызвали

особенно живой интерес, поскольку показали то, что там совершенно упускалось из виду, а именно, что можно было обойтись без большей части атрибутов, которыми мы были обременены, и жить гораздо проще и дешевле, чем мечтали в приличном обществе.

Переезд из государственной школы в коттедж среди холмов Суррея был чем-то большим, чем смена места жительства: это была эмиграция, романтика, странная новая жизнь в каких-то отдаленных антиподах, где символы старого рабства, такие как шапочка и мантия, нашли новое и лучшее применение, подобно мечам, перекованным на орала. Мое платье было разрезано на полоски для прикрепления лиан к стенам: мой цилиндр, когда я видела его в последний раз, закрывал молодой кабачок. Слуг там не было; и с их потерей мы узнали две вещи: во-первых, слуги делают гораздо больше, чем им приписывают их хозяева; во-вторых, многое из того, что они делают, может быть уменьшено или стать ненужным при небольшом разумном продумывании устройства дома.

Одна из неблагодарных обязанностей, которую выполняют слуги, - это защита своих работодателей от личных бесед с попрошайками и бродягами; они действуют как полномочные представители в деле Отказа. В сельской местности это, безусловно, экономит немало времени домовладельца, но можно усомниться в том, приносит ли это ему пользу в целом, поскольку бродяги иногда бывают забавным народом и отнюдь не лишены юмора в своем способе взимания налогов с зажиточных. Я помню одного старого нищенствующего, который зашел ко мне через черный ход, чтобы попросить небольшую сумму для совершенно особой цели, и рассказал свою историю так искусно, что из восхищения, а не убежденности я избавил его, как он сам выразился, от насущного затруднения. Две минуты спустя раздался осторожный стук в мою входную дверь, и вот тот же старый негодяй начинает ту же старую сказку! Он допустил ошибку, предположив, что один коттедж - это два смежных, и когда его покойный благодетель открыл дверь, я увидел, как его сотряс кратковременный приступ смеха, настолько человеческого, что обезоружил гнев.

Затем были “бродяги” в метафорическом смысле, друзья и приглашенные или непрошенные гости, чьим визитам были рады в этом уединенном краю голых пустошей и холмов. Эдвард Карпентер, как автор книг, в которых доказывалось, что такая жизнь возможна, был, конечно, божеством-покровителем этого места: Бернард Шоу, с другой стороны, был *advocatus diaboli*, чья откровенная ненависть к сельской местности придавала дополнительный колорит его выступлениям там и завершалась характерной статьей “Воскресенье на холмах Суррея”, в которой он описал мокрую прогулку по Хайндхеду и крайность своих страданий, пока его не доставил в Лондон “благословенный спасательный поезд”.^[16] Но шутить на такие темы опасно; и я с сожалением должен сообщить, что местная газета несколько лет спустя, перепечатывая иеремиаду “Джи Би Си”, добавила несколько едких редакционных комментариев, в которых со временем не утихла обида на “джентльмена-кокни, обладающего очень хорошей печенью, но не душой выше желудка”.^[17] В упрощении домашней жизни Шоу легко настоял на своем; он был самым добросовестным и образцовым в “мытье посуды”, и видеть методичную точность, с которой он заправлял свою постель, само по себе было уроком домашнего порядка. Так была осознана истина того, что Клаф написал в своей книге:

Как даже взбивание и стирка, молочные продукты, обязанности судомойки требуют лишь прикосновения, чтобы искупить и превратить их в очарование и привлекательность;

Для истинного изящества требуется чистота, но искреннее и художественное обращение, А удаление помоев требует декоративной обработки.

Однако в общении с бродягами даже Шоу может быть виноват. Однажды нас посетил очень нежеланный бродяга, который долго рассказывал об ужасной ране, которую он носил на себе; и когда его лекция была закончена, Шоу в одобренной фабианской манере перешел к одному-двум вопросам. Но в такой компании сомневаться - значит подозревать; и бродяга, глубоко уязвленный любым сомнением в его правдивости, сразу же начал сбрасывать с себя одежду, чтобы представить наглядное доказательство. “Зрелище, о котором можно только мечтать, а не рассказывать”. Мы были просто спасены от этого искренним отречением от любого фрагмента неверия.

Среди наших самых желанных посетителей был “Странник” мистера У. Дж. Джаппа, автора в последующие годы одной из самых мудрых и благородных книг, настоящей духовной автобиографии, правдивой истории сердца.^[18] Сам преданный любитель природы, он сообщил нам новости о величайшем поэте-натуралисте Генри Дэвиде Торо и, таким образом, возложил на меня первое из многих обязательств, которыми я обязан давней дружбе.

Но каким бы освежающим ни было избавление от знаков и символов респектабельности, отбросить “джентльмена” не так-то просто, как хотелось бы, поскольку татуировки-знаки аристократизма почти так же неизгладимы, как следы варварского ритуала, которым наслаждаются жители островов Тихого океана. Раз джентльмен, значит, джентльмен навсегда: с обвинением, как и с преступлением, трудно смириться. Однажды я встретил автора книги *"На пути к демократии"*, который шел и разговаривал с очень оборванным бродягой, которого он обогнал на большой дороге. Бродяга обратился ко мне, словно желая объяснить суть дела: “Этот джентльмен...” - начал он, указывая на мистера Карпентера. “Я не джентльмен”, - резко перебил философ; после чего оборванец с озадаченным видом и покачиванием головой, выразившим полное замешательство, оставил нас и, пошатываясь, продолжил свой путь.

Как организованное движение, Упрощение оказалось не столь успешным, как могло бы быть оправдано важностью предмета. Братство новой жизни, общество, основанное в 1883 году, пользовалось услугами многих вдумчивых людей, среди которых мистер Морис Адамс, мистер У. Дж. Джапп, мистер Герберт Рикс, мистер Дж. Рамзи Макдональд и мистер Персиваль Чабб; но хотя его главный герой, мистер Адамс, привнес в дело исключительные знания и способности, Братство, просуществовав много лет, постепенно ослабло и прекратило свое существование. Это тем более достойно сожаления, что упрощение жизни особенно подвержено непониманию и дешевым насмешкам, и поэтому его необходимо постоянно преподносить публике в рациональной форме; тогда как сейчас оно в сознании людей в значительной степени ассоциируется с книгой пастора Вагнера *"Простая жизнь"* и подобными банальностями. Ибо глупо, ни больше ни меньше, представлять Упрощение как чисто личное дело, сводящееся к немногим большему, чем умеренность и искренность в различных сферах жизни: существует *социальный* аспект вопроса, который, таким образом, нельзя игнорировать. Как говорит Торо: “Если я посвящаю себя другим занятиям и размышлениям, я должен сначала увидеть, по крайней мере, что я не занимаюсь ими, сидя на плечах другого человека”. Простота - это не только “состояние души”: она подразумевает действие, а также вкус.

Возможно, нет ничего удивительного в том, что эта доктрина была высмеяна критиками ввиду неразумности, с которой некоторые из ее приверженцев проповедовали и практиковали ее. Притягательность “возвращения к природе” Руссо была слишком велика для более слабых энтузиастов, которые в своем желании быть “естественными” упустили качества, в которых заключается истинная естественность. Я помню случай с умным молодым человеком, только что окончившим университет, который, увлеченный кредо простоты, арендовал большой участок в песчаной глуши, где едва ли можно было выращивать урожай, и убедил опытного работника старой закалки привезти свою семью жить на эту образцовую ферму в надежде реализовать там идеал. Он был бы “естественным”; это был его постоянный призыв. Потребовался бы Харди, чтобы изобразить последовавшие за этим сельскохозяйственные трагедии. В жестокую жару огненного лета посевы увядали один за другим, пока сердце старого земледельца не заболело от дикого отчаяния. Я вспоминаю воскресную прогулку с группой с фермы к холму, с которого открывался вид на Сахару, где были похоронены их надежды, и глубокий пыл восклицаний ветерана, когда он смотрел на безлюдную сцену. “Ну, я *am...*” — было его повторным замечанием; и язык этот был совершенно неподходящим для смешанной компании, собравшейся рядом с ним.

Против фиаско такого рода выступал тот факт, что труды истинных сторонников Простоты все чаще читались и обдумывались. В гении Торо был магнетизм, который мог повлиять не только на тех, кто его знал, но и на более позднее поколение читателей, среди которых общая любовь к “поэту-натуралисту” Конкорда часто становилась связующим звеном дружбы (о чем у меня есть основания вспоминать с благодарностью) между жизнями, которые в остальном были далеки друг от друга. Первое прочтение *Уолдена* было для меня эпохой, откровением; и я знаю, что в этом отношении мой опыт не был чем-то особенным; и впечатление, которое я тогда сформировал о величии Торо, никоим образом не уменьшилось, а, напротив, значительно усилилось благодаря моей переписке или личному общению с теми, кто числился среди его друзей.

Одна из самых замечательных глав в “*Уолдене*” посвящена “Высшим законам”, в которой идеал гуманности утверждается как неотъемлемая часть Упрощения. Как часто из-за отсутствия такого принципа в попытках вести простую жизнь сама простота становилась не более чем сентиментальностью! Кто, кроме дикаря, например, включил бы содержание и умерщвление свиней в число элементов образцовой фермы? И все же в том заведении, о котором я говорил, где общепризнанной целью было быть “естественным”, забой свиней был праздничным событием. “Отец колет их, брат моет”, — такого описания удостоила очаровательная молодая “землянка” (если использовать изобретенный позже термин), которая с восторгом описывала это неприятное разделение труда в своем *Беспечном Романе*. Что ж, Толстой мог бы использовать этот процесс забоя свиней в качестве иллюстрации своего аргумента о том, что на любом пути к цивилизации отказ от забоя скота должен быть “первым шагом”.

Социализм в то время находился на своей ранней и романтической стадии, когда угроза Социал-демократической федерации становилась ужасом для состоятельных людей, и когда многие сановники Церкви и государства разделяли веру доктора Уорре в то, что “взорвать нас” было дьявольским желанием подстрекателей, осуждавших капитализм. Несомненно, именно новизна атаки сделала ее такой ужасной; ибо чартизм был в значительной степени забыт, и секуляризм заполнял промежуток в качестве национального пугала. Несомненно, в тот период восьмидесятых ведущие социалистические деятели казались более зловещими, чем кто-либо в

современном Рабочем движении. Уильяму Моррису, действительно, как широко известному поэту, была предоставлена своего рода лицензия говорить так прямо, как он хотел; но Хайндман, Бернс, Бакс и Х. Х. Чемпион были именами, имевшими мрачное значение для "буржуа" того времени. Неоднократные пророчества мистера Хайндмана о революции вызывали не меньшую тревогу, потому что они всегда не сбывались; мистера Бернса боялись как демагога, попавшего в тюрьму из-за своего неповиновения закону и порядку, мистера Чемпиона - как армейского офицера в отставке, который, возможно, мог использовать свои военные знания в смертельных целях. Тому, кто лично знал этих реформаторов и их бесстрашный труд в непопулярном деле, странно вспоминать бурю поношений, с которой им тогда пришлось столкнуться; им и другим подобным людям во многом обязан тот прогресс, который с тех пор был достигнут в улучшении условий труда. Их слабость заключалась в том, что они не могли договориться между собой (реформаторам это редко удается); отсюда внутренние разногласия, которые подрывали влияние чемпиона раунда S.D.F., в частности, разлад бушевал до тех пор, пока он не подвергся остракизму со стороны своих бывших коллег; и все же о нем никогда не было сказано более справедливого слова, чем замечание, сделанное мне много лет спустя мистером Джоном Бернсом, — что, если бы ему когда-нибудь пришлось туго во время охоты на тигра, не было никого, кого он с такой радостью имел бы рядом, как Х.Х. К.

С Уильямом Моррисом было невозможно поссориться даже "товарищу"; его абсолютная искренность и великодушие запрещали это. Но каким бы широким ни было его добродушие, раньше он казался несколько сбитым с толку такими новыми идеями, как вегетарианство в сочетании с трезвенничеством. "Я бы хотел пригласить вас выпить", - говорил он после собрания или лекции; а затем добавлял, словно в отчаянии: "Но вы *не* будете пить".

Одним из воспоминаний о тех годах является большое собрание, состоявшееся в феврале 1888 года, чтобы приветствовать Джона Бернса и Каннингхэма Грэма по случаю их освобождения из тюрьмы. Помимо моего восхищения героями вечера, у меня была причина запомнить это событие, потому что, как и многие другие присутствовавшие, я потерял ценные часы. Это поставило нас в неловкое положение, поскольку, собравшись протестовать против действий полиции на Площади, мы не могли с достоинством призвать ее на помощь в борьбе с карманниками.

Самой странной личностью среди социалистов того времени был доктор Эдвард Эвелинг. Легко назвать его негодяем, но на самом деле он представлял собой странную смесь хороших качеств и плохих; двурушник, однако его двуличие было результатом не столько расчетливой нечестности, сколько натуры, в которой был избыток эмоциональных и художественных элементов при почти полном отсутствии морали. Персонаж Дубеда в пьесе мистера Бернарда Шоу "*Дилемма доктора*", в некотором роде напоминает персонажа Эвелинга, поскольку почти все, кто имел с ним дело, даже те, кто были в самых дружеских отношениях, рано или поздно становились жертвами его мошенничества в денежных вопросах. Чувства человека к нему, возможно, можно было бы выразить в замечании, сделанном одним из персонажей "*Дилеммы доктора*": "Ты мне не можешь не нравиться, Дубеда. Но вы, безусловно, опытный образец.

Однако заслуги Эвелинга перед социалистическим делом были совершенно искренними; так же, как и его любовь к хорошей литературе, хотя иногда она проявлялась в чересчур сентиментальном ключе. Он был искусным декламатором стихов, и однажды, когда они с Элеонорой Маркс посетили наш коттедж в Суррее, он взялся прочесть вслух последний акт

"Освобожденного Прометея" Шелли. Создавая эффект хора и полупора, а также чудесной последовательности духовных голосов в этой величайшей из лирических драм, он дрожал в своем страстном возбуждении, и когда он произнес торжественные слова Демогоргона, которыми завершается поэма, он разразился бурей рыданий. Раньше я жалел, что никогда не слышал, как он декламирует "Колокола" По, которые, как говорят, были его самым эффектным исполнением; потому что в его натуре было что-то довольно сверхъестественное и озорное, что, несомненно, делало его хорошим интерпретатором сверхъестественного.

Однако в союзе Эвелинга с дочерью Карла Маркса была настоящая трагедия; ибо Элеонора Маркс была великолепной женщиной, сильной как умом, так и сердцем и верной как сталь мужчине, который значительно уступал ей и в том, и в другом, и который в конце концов обошелся с ней вероломно и неблагодарно, что привело непосредственно к ее смерти.

В качестве поправки к романтическому социализму SDF возникла более трезвая доктрина фабианства, название, полученное, как нам говорят, от знаменитого Фабия, который одерживал свои победы по принципу "больше поспешности, меньше скорости"; в противном случае можно было бы проследить его происхождение от латинского *fari*, "говорить", как видно из слова "фабрикация". В первые и наиболее интересные дни фабианства его главными поборниками, известными как "четверка", были Сидни Уэбб, Бернард Шоу, Сидни Оливье и Грэм Уоллас; и, несомненно, ни одна римская тройка никогда не "удерживала мост так хорошо", как фабианская четверка удерживала доски своего помоста во всех штурмах, которые на него предпринимались. Редко можно было услышать лучшие дебаты, чем на тех двухнедельных собраниях в кабинете Уиллиса. На самом деле проблема фабианства заключалась в том, что оно стало почти *чересчур* мозговитым; раньше это напоминало мне замечание Сиднея Смита о ком-то, кто был сплошным умом, - что "его интеллект был неприлично обнажен". Гуманности отводилось мало места в философии Фабиана. Однажды, посетив загородную виллу, которую только что заняла изысканная семья Фабиан, я узнал, что хозяйки дома, высокоинтеллектуальные и образованные женщины, сами пачкали полы своего нового очаровательного жилища бычьей кровью, принесенной в ведре из развалин.

Шоу был, конечно, выдающейся фигурой фабианства, как и любого движения, в котором он принимал постоянное участие; но он был гораздо большим, чем фабиан, он был также гуманитарием; и это дает повод для размышлений, поскольку показывает, насколько легче изменить теории людей, чем их привычки, тот факт, что, хотя его влияние на социальную и экономическую мысль было очень заметным, его последователей в практике гуманитарных наук было немного. Было также заметно, как во многих отзывах, написанных о Шоу, его гуманизм почти полностью игнорировался или обходился без внимания как приятная эксцентричность гениального человека. И все же ясно, что если "Джи БиЭс", которая за последние сорок лет проделала достаточно бескорыстной работы, чтобы создать репутацию десятка филантропов, "не следует воспринимать вполне серьезно", то нет смысла принимать кого-либо всерьез. Человек не становится менее серьезным оттого, что обладает богатым даром юмора или скрывает свои истины за парадоксами. Шоу, на самом деле, один из самых серьезных и кропотливых мыслителей: все его легкомыслие проявляется в манерах, серьезность - в намерениях; тогда как, к несчастью, у большинства людей именно намерения смертельно легкомысленны, а манеры смертельно скучны.

Возможно, скука нашего века яснее всего проявляется в его юморе; профессиональный шут за обеденным столом или в юмористическом журнале - самый печальный из всех людей. Рассказывают, что когда Эмерсон повел своего маленького мальчика посмотреть на циркового клоуна, ребенок поднял встревоженные глаза и сказал: "Папа, этот забавный человек вызывает у меня желание вернуться домой". Многие из нас, должно быть, испытывали подобное чувство, когда слышали или читали некоторые банальности, которые сошли за юмористические. Именно здесь "Джи Би Си" выделяется освежающим контрастом; его остроумие такое же искреннее и спонтанное, как у Сидни Смита; но в то время как Сидни Смит в старости был вынужден подсчитывать, сколько телег мяса он съел за свою жизнь, Бернард Шоу смог сообщить миру, что за его похороны последуют "не траурные кареты, а стада быков, овец, свиней, стада домашней птицы и небольшой передвижной аквариум с живыми рыбками" - представителями благодарных собратьев, которых он не ел.[19]

Если бы социалисты заботились о поэтической литературе своего дела хотя бы в половину так же хорошо, как чартисты, имена Фрэнсиса Адамса и Джона Барласа были бы гораздо более широко известны. Именно мистер У. М. Россетти обратил мое внимание на пламенный сборник стихов Адамса *"Песни армии ночи"*, впервые опубликованный в Австралии в 1887 году; и когда я тогда готовил антологию *"Песни свободы"*, я разговорился с автором, и наше знакомство быстро переросло в дружбу. Фрэнсис Адамс был поэтом социализма в гораздо более истинном смысле, чем Уильям Моррис; ибо, в то время как Моррис был поэтом, ставшим социалистом, Адамс, как и Барлас, был не столько обращенным в социализм, сколько отпрыском социализма, настоящим *Дитя Эпохи*, если процитировать название его собственного автобиографического романа, в бурю и напряжение своей карьеры. Он получил классическое образование в школе Шрусбери ("Гластонбери" из его романа) и после недолгого обучения в школе стал журналистом и странником. На короткое время, в 1883 году или около того, он был связан с Социал-демократической федерацией и однажды воскресным днем записался в члены под деревьями Риджентс-парка на собрании, на котором выступил его друг Фрэнк Харрис. Какое-то время в Австралии, где он принимал активное участие в рабочем движении и часто писал для *Sydney Bulletin* и других журналов, у него было много друзей и почитателей; но как раз в тот момент, когда перед ним открывалась карьера в парламенте, болезнь подкосила его, и в 1890 году он вернулся в Англию, страдая чахоткой, чтобы три года спустя умереть от собственной руки.

Из прозаических произведений Адамса наиболее примечательным является *"Дитя эпохи"*, написанный, когда ему было всего восемнадцать, и впервые напечатанный под названием *"Лестер, автобиография"*, необычайно увлекательная, хотя и несколько болезненная история, которая заслуживает того, чтобы ее поставили в один ряд с *"Грозным перевалом"* и *"Историей африканской фермы"*, среди известных произведений незрелого воображения. Он сказал мне, что это было написано почти спонтанно: ему просто "пришло в голову" написать это, и он сам чувствовал, что это ненормальная книга. *Опеснях Армии Ночи* он сказал, что они были предназначены для того, чтобы сделать то, чего никогда раньше не делалось — выразить то, что могло бы быть чувствами представителя рабочего класса, когда он обнаруживает пустоту, по его мнению, нашей культуры и образования; отсюда безжалостная брань, которая проявляется во многих стихотворениях. Так же верно, как "Corn Law Rhymes" Эллиота передали беспокойный дух их эпохи, так и эти яростные, пронзительные тексты, горящие как любовью, так и ненавистью, выражают страстные симпатии и глубокое негодование социалистического движения в его бунте против фальшивой филантропии и патриотизма. Ни один поэт-бунтарь

никогда не “обвинял свою страну и свое время” в более пламенных словах, чем Адамс в своих строфах “В Англию”.

Я, которого ты кормил стыдом и морил голодом от горя,
Я кружу над тобой,
Твой роковой Стервятник, ибо я так ненавижу тебя,
я почти люблю тебя.

Но *песни* не только обличительны; в них есть более близкий и личный аспект, как в бесконечно сострадательной “Одной среди стольких многих”, которая покоряет сердце читателя так, как когда-либо покоряются лишь немногие избранные книги. В своей странной смеси сладости и горечи они очень типичны для самого Фрэнсиса Адамса: в один момент и в одном аспекте он был самым простым и милым из существ; в другой - самым агрессивно критичным и привередливым.^[20]

Но если Фрэнсис Адамс не получил заслуженного признания, что сказать о Джоне Барласе, чьи семь небольших томов богатейших и мелодичнейших стихов были напечатаны (вряд ли можно сказать, что они были опубликованы) под псевдонимом “Эвелин Дуглас”, и в основном в местах, удаленных от книжного мира? Если принять во внимание все эти недостатки, то странно, что литературные критики, всегда находящиеся в поиске новых гениев, не смогли обнаружить Барласа; ибо, хотя число современных поэтов значительно, прирожденных певцов все еще так же мало, как и раньше; и все же именно к этому небольшому и избранному классу Барлас безошибочно принадлежал. Его *стихотворения “Лирические и драматические”* (1884) содержали, несмотря на многое из того, что было ошибочным и незрелым, множество изысканно красивых текстов, выражающих подлинный песенный дар. Грек по духу, он также в высокой степени обладал чувством братства со всем, что дышит, и всегда стремился в своей поэзии не только к наслаждению лучшим и прекраснейшим на земле, но и к более справедливому и счастливому состоянию общества среди человечества. Он не был только мечтателем, устремленным к каким-то далеким горизонтам будущего; он был горячим любителем свободы и прогресса в настоящем; и эта надежда тоже нашла достойное выражение в его стихах. Трудно сказать, где Свобода была представлена более благородно, чем в его стихотворении “Жене Барбару”:

Свобода, ее рука протянута, но губы плотно сжаты,
Свобода, ее глаза полны слез жалости,
Но ее платье забрызгано каплями кровавой росы,
Свобода, твоя богиня, пока еще наша богиня,
Юный Барбару.

О *любовных сонетах* Барласа (1889) можно без преувеличения сказать, что, хотя они и неизвестны читающей публике и любому, кроме горстки студентов, они не заслуживают того, чтобы быть причисленными к лучшим сонетным последовательностям. По мнению Мередит, как автор сонетов Барлас занимал “высокое положение среди поэтов своего времени”; и что заключительный сонет был “непревзойденным по благородству чувств”. Благородство

действительно было чертой всей поэзии Барласа и его характера. Происходя из рода знаменитой Кейт Дуглас, получившей имя Бар-ласс, он еще в школьные годы отличался великодушием и отвагой; и ни в коем случае эти качества не проявлялись так ярко, как в достоинстве, с которым он переносил долгие годы неудач и несчастий, омраченных временами безумием.

Зима 1891-1892 годов принесла единственный случай, когда имя Барласа прозвучало на публике. Ему было предъявлено обвинение в стрельбе из револьвера в Палате общин, что он сделал в знак своего презрения к парламентскому правлению; но когда Х. Х. Чемпион и Оскар Уайльд предложили себя в качестве поручителей, он был уволен на попечение своих друзей. Впервые я услышал о нем от Чемпиона вскоре после этого события в письме, в котором он говорил о своей поэзии как о “трех частях моей религии”; но только десять или двенадцать лет спустя я близко познакомился с ним, и затем он регулярно писал мне до своей смерти в 1914 году. Его письма, написанные в основном из убежища в Шотландии, являются одними из самых интересных, которые я когда-либо получал; ибо, несмотря на свое слабое здоровье, он был неутомимым студентом, великим знатоком классической литературы и глубоко начитан многими греческими и латинскими авторами, чьи произведения выходят за рамки узких школьных и университетских программ. Но его гениальность заключалась в его стихах, и следует надеяться, что избранное из них еще увидит свет.

Таким образом, эти два поэта, Адамс и Барлас, хотя и были истинными детьми социализма, были лишены возможности принимать активное участие в его пропаганде из-за несчастий, обрушившихся на их жизнь. Эдвард Карпентер, с другой стороны, хотя и не принадлежал ни к одной из секций реформаторов, был одним из самых влиятельных писателей и ораторов социалистического движения; и его имя заслуженно почитается не только за его многочисленные прямые заслуги перед движением, но и за личную дружбу, которую он оказывал коллегам по работе и, по сути, всем, кто обращался к нему за безвозмездной помощью там, где, в силу характера дела, отдачи могло быть мало или вообще не было. Его коттедж в Миллторпе уже в девяностые стал местом паломничества, прибежищем “товарищей”, которые обрушивались на него с окрестных холмов или хлынули в долину из Честерфилда подобно приливной волне, или “зануде”, как он метко это описал. Его друг Джордж Адамс с семьей тогда жил с ним в Миллторпе; и те, кому посчастливилось быть близкими с этим восхитительным семейством, всегда будут с удовольствием вспоминать их визиты. Джордж Адамс, мастер по изготовлению сандалий, был настолько очаровательным собеседником, насколько могло пожелать сердце, полным художественного чувства (посмотрите на его прекрасные акварели), причудливых юмористических фантазий и неизменной доброты. Память о нем очень дорога его друзьям.

Одна из самых странных вещей, сказанных об Эдварде Карпентере одним из самых восхищенных его критиков, заключается в том, что у него нет способностей к организации. Раньше меня часто поражало огромное терпение и ловкость, с которыми он собирал и управлял своими многочисленными незванными гостями. Он вполне мог бы воскликнуть вместе с Эмерсоном:

Спрашиваешь: “Как долго ты останешься”?
Разрушитель дня!

Но хотя паломники часто не проявляли особого внимания к своему хозяину, судя по манере и продолжительности их визитов, он, казалось, всегда был хозяином положения в чрезвычайной ситуации, принимая вновь прибывших, какими бы несвоевременными ни были их приезды, с невозмутимой вежливостью и мягко снимая с блюдец с таким мастерством, что создавалось впечатление, будто они уходят добровольно и намеренно. Это было гостеприимство, доведенное до высокого искусства.

В течение многих лет в каталоге Британского музея существовало причудливое разделение работ Карпентера: его ранние работы приписывались некоему Эдварду Карпентеру, "члену Тринити-холла, Кембридж", а более поздние - другому Эдварду Карпентеру, помещенному на более низкую ступень "Социального реформатора". Возможно, в этом двойственном расположении была некоторая пристойность, а также бессознательный юмор; ибо Карпентер, как и Моррис, не был социалистом по рождению, но тем, кто в силу естественных предубеждений перешел от респектабельности к Свободе; и в его трудах были очевидные признаки перемены.

Другая и более смелая классификация была когда-то предложена мне Бернардом Шоу, а именно. что будущие комментаторы разделят творчество Карпентера на два периода; во-первых, это сравнительно тривиальные книги, написанные до того, как он соприкоснулся с "Джи Би Си"; во-вторых, это действительно важный вклад в литературу, где заметно влияние шавиана. Я рассказал об этой схеме Карпентеру, и он с улыбкой предположил, что, если есть какая-либо задолженность, имена должника и кредитора должны быть поменены местами. Но для слона было бы столь же разумно утверждать, что он повлиял на кита, или для кита было бы слонем, как для мыслителя или провидца, каждый из которых движется в совершенно разных областях, предположить, что он повлиял на курс другого. Они испытывали одно общее влияние — желание очеловечить варварскую эпоху, в которую они жили, — и странно, что Карпентер в своей книге о "Цивилизации" присвоил столь справедливое и незаслуженное название состоянию общества, которое, несмотря на все свои хваленые науки и механические изобретения, по сути является не чем иным, как древней дикостью в более сложной и громоздкой форме.

VII

ПОЭТ-ПЕРВОПРОХОДЕЦ

Я не знаю внутреннего устройства других людей.... Я вижу, что по некоторым внешним признакам они похожи на меня, но когда, введенный в заблуждение этой внешностью, я подумал обратиться к чему-то обычному и излить им душу, я обнаружил, что мой язык неправильно понимают, как в далекой и дикой стране.—Шелли.

Процитированные выше слова отдавали бы самодовольством, если бы их вложил в уста кто угодно, кроме поэта, написавшего их. Исходя из Шелли, они не производят такого впечатления; ибо мы чувствуем о нем, что, как любил говорить Ли Хант, он был "духом, который вылетел из своей сферы и очутился в другом мире ... он прилетел с планеты Меркурий." Или, скорее, он был

пророком и предтечей еще далекого состояния общества на этой планете Земля, когда дикость нашего прошлого и настоящего будет заменена цивилизацией, которой суждено быть.

Во второй половине девятнадцатого века влияние Шелли было очень сильным не только на каноны поэзии, но и на идеалы различного рода — свободомыслие, социализм, вопросы пола, продовольственную реформу и немало других проблем интеллектуального и этического значения. Чартистское движение подало пример. В письме, которое я получил от Элеоноры Маркс в 1892 году, она говорила об "огромном влиянии", которое труды Шелли оказали на ведущих чартистов: "Я слышал, как мой отец и Энгельс снова и снова говорили об этом; и я слышал то же самое от многих чартистов, с которыми мне посчастливилось быть знакомым, — Эрнеста Джонса, Ричарда Мура, Уотсонов, Дж. Дж. Харви и других". То, что было верно для чартизма, было в равной степени верно и для других движений; что действительно признавали недоброжелатели Шелли, а также утверждали его друзья: посмотрите жалобу сэра Лесли Стивена на то, что "приверженцы некоторых любимых теорий Шелли" стали "намного шумнее". В восьмидесятые годы интерес, вызванный спорами, которые бушевали вокруг Шелли, как поэта, так и первопроходца, был особенно силен, о чем свидетельствовали обновленные публикации шеллианской литературы, такие как издания произведений мистера Формана и мистера У. М. Россетти, биография доктора Даудена и многочисленные публикации Общества Шелли, датируемые 1886 по 1892 год. Это было время, когда старый оскорбительный взгляд на Шелли как на воплощение дьявола уступал место столь же иррациональному апологетическому взгляду — периоду "бедной, бедняжки Шелли", представителем которого был Дауден; однако значительная часть прежней горечи все еще оставалась, и мрачная проза мистера Корди Джеффрсона под названием "Настоящая Шелли" была опубликована еще в 1885 году.

Скромному ученику такого гения, как Шелли, трудно откровенно говорить о своем долге перед ним, не забывая при этом о своей личной незначительности; но я предпочитаю рискнуть недопониманием, чем оставить дань недосказанной. С того дня, когда в подготовительной школе я впервые познакомился с лирикой Шелли, заказав несколько строф из "Облака" для перевода на латынь, я никогда не сомневался, что он стоит особняком от всех других поэтов в очаровании своих стихов; и вскоре я узнал, что в красоте и мудрости его мыслей было такое же различие; так что он стал для меня, как и для других, тем, что Лукреций нашел в Эпикуре, проводником и утешением во всех превратностях жизни:

Ты - отец нашей веры, и Твои
Наши святейшие заповеди; из твоих божественных песен,
Как пчелы пьют мед в цветущей лощине,
Извлекаем мы славу каждой золотой линии,
Золотой, украшенной жизнью нетленной.[21]

В Итоне о Шелли знали мало и еще меньше понимали. Когда впервые было предложено установить бюст поэта в Старшей школе, доктор Хорнби, как говорят, ответил: "Нет, он был плохим человеком", и выразил шутливое сожаление по поводу того, что он не получил образования в Харроу. Однажды я прочитал доклад о Шелли в Ашемском обществе и был поражен невежеством, царившим о нем среди преподавателей Итона: только один или двое из них были знакомы с более длинными стихотворениями; остальные читали строки "Жаворонку";

один с некоторой долей гордости сказал нам, что читал "Адонаиса"; многие считали поэта распутником; и хотя они не говорили, что он позорит Итон, было очевидно, что именно это лежало в основе чувства. Через несколько лет после того, как я покинул Итон, Уильям Кори написал статью для Общества Шелли о "Классике Шелли" (именно. его знание греческого и латыни), которую в его отсутствие я прочитал на одном из собраний Общества; и я помню, как был удивлен, обнаружив, что даже он считал Шелли многословным и нудным писателем.

От мистера Кигана Пола, который был другом сэра Перси и леди Шелли, я услышал все, что было известно о внутренней истории жизни Шелли; и поскольку после публикации биографии Даудена в 1886 году основные факты больше не оспаривались, мне показалось, что лучшая услуга, которую можно было тогда оказать его памяти, - это показать, что он был далеко не "прекрасным и бесполезным ангелом", а прекрасным, но очень действенным пророком реформ. Это я сделал или пытался сделать в различных эссе, опубликованных примерно в то время, когда Общество Шелли начинало свою работу; и таким образом я был тесно связан с ним в течение семи лет его существования. В качестве иллюстрации того, что старая вражда все еще тлела более шестидесяти лет спустя после смерти Шелли, я испытываю искушение процитировать свидетельство, полученное мной от критика в "*Вестминстер Ревью*", где я обнаружил, что описан как один из писателей, копавшихся в "оскорбительной материи" жизни Шелли "с грубыми мыслями и удовлетворенным ворчанием" и предпринявших "дерзкую попытку снискать славу иконоборца среди социальных еретиков с аморальными наклонностями и порочными желаниями". В этом было что-то старое, искреннее, и я чувствовал, что, должно быть, я на правильном пути как ученик Шелли. Я также знал из писем, которые получал от леди Шелли, невестки поэта, чьи *Воспоминания о Шелли* были отправной точкой для всех последующих оценок, что я писал не без верительных грамот. "За последние тридцать пять лет," написала она мне в 1888 году, выступая от имени сэра Перси Шелли и себя самой, - мы так сильно страдали от того, что писали о Шелли те, кто не был способен понять его характер и находился в полном неведении об обстоятельствах, сформировавших его жизнь, что я не могу удержаться от выражения нашей сердечной благодарности за комфорт и удовольствие, которые мы получили, прочитав вашу статью". И позже: "Для меня большое счастье знать в старости, что, когда меня не станет, останется кто-то, кто будет сражаться за правду против тех, чья природа мешает им видеть в прекрасной бескорыстной любви и доброте Шелли что-либо, кроме зла".

Общество Шелли, основанное доктором Ф. Дж. Ферниваллом в 1886 году, пользовалось поддержкой большого числа поклонников поэта, среди которых были мистер У. М. Россетти, мистер Стопфорд Брук, мистер Бакстон Форман, мистер Герман Везин, доктор Джон Тодхантер, мистер Ф. С. Эллис, мистер Стэнли Литтл и мистер Бернард Шоу; была проделана большая полезная работа в виде встреч и дискуссий, публикации эссе о Шелли и факсимильных переизданий некоторых из его более редких томов, что пролило новый свет, биографический или библиографический, по многим сомнительным вопросам. Я сошлюсь только на одно из них, в котором я сам принимал участие, исследование "Джулиан и Маддало", которое я прочитал на собрании в 1888 году и которое впоследствии было напечатано в *Документах Общества Шелли* и переиздано в виде брошюры. Его цель состояла в том, чтобы прояснить то, что было упущено из виду Дауденом, Россетти и главными авторитетами, хотя на это намекали один или два автора, а именно. что история "маньяка" (в "Джулиане и Маддало") была не просто причудливой вставкой, как обычно предполагалось, а фрагментом поэтической автобиографии, завуалированным описанием собственных чувств Шелли в момент его разлуки с Харриет. По

этому поводу доктор Фернивалл написал мне (16 апреля 1888 г.): “Роберт Браунинг говорит, что он всегда придерживался основной части вашей точки зрения, начиная с первой публикации ‘Джулиана и Маддало’, но вы не должны вдаваться в подробности. Вчера вечером у меня был с ним долгий разговор.

Величайшим достижением Общества Шелли стала постановка *“Ченчи”* в Ислингтонском театре в 1886 году. Технически спектакль был частным, поскольку Лицензиат пьес отказал ему в разрешении; но был вызван большой общественный интерес, и игра мистера Германа Везина в роли графа Ченчи и мисс Альмы Мюррей в роли Беатриче — “поэтической актрисы без соперницы”, как охарактеризовал ее Браунинг, — сделала событие таким, которое не смог забыть ни один поклонник Шелли. Если бы Общество не сделало ничего другого, кроме этого, его существование все еще было бы оправдано.

У каждой литературной ассоциации, как и у каждого общественного движения, обязательно есть как юмористический аспект, так и серьезный, и Общество Шелли было очень далеко от исключения из этого благотворного правила; действительно, оглядываясь назад на его карьеру, приходится сдерживать желание быть поглощенным смехотворными чертами происходящего, исключая его действительно ценную работу. Ситуация была богата восхитительными несообразностями; ибо основная часть Комитета, хотя и восхищалась поэтическим гением Шелли, казалось, совершенно не подозревала о выводах, к которым неизбежно вели его принципы, и о живых вопросах, которые, несомненно, поднимало любое подлинное изучение Шелли. Соответственно, когда мистер Г. В. Фут, президент Национального светского общества, выступил перед очень большой аудиторией с речью о религии Шелли, Комитет, за несколькими исключениями, обозначил свое отвращение к взглядам лектора, которые, как оказалось, также совпадали с взглядами Шелли, тем, что предпочел остаться в стороне. Я думаю, что это было в более раннем случае, когда Бернард Шоу потряс компанию, начав речь словами: “Я, как социалист, атеист и вегетарианец” Я помню, как почетный секретарь, обращаясь ко мне впоследствии, как к сочувствующему коллеге, сказал, что он всегда понимал, что если человек признает себя атеистом, то было бы правильно “пойти за ним”; но когда я указал, что, что бы ни думали о таком курсе как об общем правиле, было бы немного сложно действовать в соответствии с ним в одиночку. Общество Шелли, казалось, было поражено моим предложением. Как бы то ни было, мы не стали нападать на Шоу; возможно, мы знали, что он изучал благородное искусство самообороны.

Затем в Комитете возникли серьезные проблемы, когда доктор Эвелинг подал заявку на членство, поскольку большинство решило отказать ему — его брачные отношения были схожи с отношениями Шелли - и только благодаря решительным действиям председателя, мистера У. М. Россетти, который пригрозил уйти в отставку, если резолюция не будет отменена, трудность была преодолена. Это был отнюдь не единственный случай, когда здравый смысл Уильяма Россетти спас Общество от абсурдного и невозможного положения; но какими бы здоровыми ни были его суждения во всех практических вопросах, ему самому было несколько не хватает чувства юмора, что стало очевидным из прочитанной им лекции о “Шелли и воде”; название, кстати, могло быть неуместно применено к чувствам нескольких наших коллег. Как известно всем студентам Шелли, в стихотворениях есть несколько любопытных упоминаний о смерти от утопления; и мы подумали, что лектор намеревался прокомментировать эти и любые другие отрывки, которые могли бы проиллюстрировать любовь, которую Шелли испытывала к плаванию по реке или морю; поэтому мы были несколько ошеломлены, когда обнаружили, что

лекция, которая была разделена на две части, а именно: “Шелли и соленая вода” и “Шелли и пресная вода” состояли немногим больше, чем из цитирования нескольких отрывков. Мы прослушали первую часть (я забыл, была ли это соленая или пресная), а затем, по предложению доктора Фернивалла, вторая была отменена. В этом была комедия; но тем не менее все любители Шелли должны быть благодарны мистеру У. М. Россетти, ибо он был одним из первых критиков, понявших истинное величие гения Шелли и оценивших не только поэзию, но и концепции, которыми она была вдохновлена. Он также оказал хорошую услугу, представив публике некоторых оригинальных писателей, в том числе Уолта Уитмена, чье признание в противном случае могло бы быть отложено.

Но выдающейся фигурой Общества Шелли был его основатель, доктор Ф. Дж. Фернивалл, ученый-ветеран и скульптор, величественный старик, чей неослабевающий пыл в своих любимых занятиях мог бы пристыдить многих энтузиастов, которые были моложе его на полвека. Прирожденный борец, ярость его споров с некоторыми литераторами (Суинберном, например) пользовалась дурной славой; но лично он был сама доброта, и у меня сохранились самые приятные воспоминания о многочисленных визитах, которые я наносил ему в его доме близ Примроуз-Хилл, где, сидя в большом кресле, он за чашкой чая охотно рассказывал о людях, которых он знал, или об обществах, которые он основал. Его чайный поднос обычно ставился на что-то вроде небольшого мостика, который опирался на подлокотники кресла, и в своем возбуждении от захватывающего анекдота я видел, как он забывал, что был таким образом ограничен, и, прыгнув вперед, швырял поднос и чай через всю комнату. Однажды он рассказал мне, что по гигиеническим соображениям был вегетарианцем в течение двадцати лет и выполнял самую тяжелую работу в своей жизни без мясной пищи; затем, оказавшись прикованным к дому с вывихнутыми лодыжками, он подорвал здоровье, пренебрегая сокращением своего ежедневного рациона. Как раз в этот момент друг прислал ему индейку, и он сказал себе: “Итак, почему эта прекрасная птица должна пропадать впустую из-за простой моей прихоти?” Таким образом, он впал в каннибализм так же легко, как и отказался от него.

В Фернивалле были невинность и *наивность*, которые временами были почти мальчишескими; его порывистость и полное отсутствие осмотрительности делали его нечувствительным к чувствам других людей, так что он жестоко оскорблял и наступал на пятки многим хорошим людям, ни в малейшей степени не осознавая этого. Он разрушил Общество Браунинга, основателем и *противником* которого он был одновременно, опрометчивой речью об Иисусе Христе в дискуссии на тему “Канун Рождества и Пасхи”; и подобным образом, хотя и с менее серьезными результатами, он поразил своих друзей-шеллианцев, когда предметом дебатов был Прометей, нетерпеливым тоном спросив: “Почему этот парень позволил приковать себя к скале? Почему он не показал боя, как я должен был это сделать?” И, конечно, если подумать, на Кавказе были бы неприятности, если бы доктору Ферниваллу было поручено сыграть роль мученика.

Зная о моей связи с Итоном, доктор Фернивалл однажды пришел ко мне в приподнятом настроении и сообщил новость о том, что в ходе некоторых исследований в Британском музее он случайно обнаружил тот факт, что Николас Удалл, директор Итона в шестнадцатом веке и один из признанных “достойных” школы, был осужден за уголовное преступление — о природе которого я должен предоставить моим читателям самим догадываться. Я слышал это раньше, но не мог испортить старику радость, сказав это; поэтому я тепло поздравил его и в шутку спросил, не напишет ли он доктору Уорру и не расскажет ли ему о столь интересном открытии. “*I have*

написал ему”, - воскликнул он, а затем с тенью неподдельного удивления и разочарования на лице добавил: “Но он мне не ответил!”

На последнем этапе существования Общества Шелли, когда его состояние пошатнулось и многие из его модных членов покинули нас, мы все еще продолжали проводить наши ежемесячные собрания в Университетском колледже на Гауэр-стрит, и некоторые из них были очень причудливыми маленькими сборищами. Аудитория порой насчитывала не более пяти-шести человек, и “слушания” могли бы и вовсе провалиться, если бы не два-три преданных энтузиаста, которые никогда не ослабевали в своем присутствии. Одной из них была миссис Симпсон, пожилая леди, которая стала для Общества Шелли тем же, чем мисс Флайт была для Канцлерского суда в *Холодном доме*, постоянным зрителем и союзником. Мы все любили и уважали ее — она была гуманитарием не хуже Шеллиан, — но мы были немного смущены, когда ее сыновнее благочестие побудило ее подарить нам экземпляры сочинений своего отца, объемистый том, озаглавленный *“Произведения Генри Хевисайдса”*. Это был отрезвляющий опыт - получить в руки эту книгу, название которой верно отражало содержание.

Столетие Шелли (4 августа 1892 г.) ознаменовало кульминацию культа, который был так популярен в предыдущем десятилетии. Местное собрание, состоявшееся в Хоршеме во второй половине дня, когда сквайры Сассекса и джентльмены-литераторы из Лондона объединились в попытке обелить характер Шелли — эти его “блестящие одежды”, “так мало запятнанные грязью”, как выразился один оратор, — было очень пустым мероприятием, резко контрастировавшим с лондонским празднованием, состоявшимся вечером в Зале науки, когда председательствовал мистер Г. В. Фут, а мистер Бернард Шоу потряс аудиторию своим описанием хоршемской апологетики. Отчет об обеих этих встречах был написан “Джи Би Си” в лучшем его духе и напечатан в *“Олбемарл Ревью”*: именно в этой статье он предложил изобразить Шелли в Хоршеме на барельефе “в высокой шляпе, с Библией в руке, ведущего своих детей воскресным утром в церковь своего родного прихода”.

Эта скульптура никогда не была выполнена; но вряд ли она была бы более неуместной, чем два главных памятника, которые были воздвигнуты, один в монастыре Крайстчерч, Хантс, другой в Университетском колледже Оксфорда; ибо что может быть менее соответствующим впечатлению, оставленному неземным гением Шелли, чем изображение его, как это сделано в обеих этих работах, в виде мертвого тела, расprostертого безвольно и жалкого, как труп какого-нибудь самоубийцы в морге? Давайте избавимся от всех подобных ужасных и похоронных представлений о Шелли и будем думать о нем как о том, кто он есть, поэте не смерти, а жизни, [22] той более благородной жизни, которой человечество еще достигнет, когда оно научится, по его собственным словам:

Жить так, как если бы любить и жить было одним целым.

Самый человечный портрет Шелли, на мой взгляд, написан молодым американским художником Уильямом Уэстом, который познакомился с ним на вилле Байрона близ Ливорно в 1822 году и, будучи сильно поражен его личностью, сделал грубый набросок, который впоследствии закончил и увез обратно в Америку. Там она сохранилась после смерти Уэста и впервые была воспроизведена в журнале *“Сенчури Мэгэзин”* в октябре 1905 года с пояснительной статьей ее нынешней владелицы, миссис Джон Данн. Благодаря любезности миссис Данн я смог использовать этот портрет в качестве фронтисписа к исправленному

изданию моего исследования Шелли, опубликованному в 1913 г. Мистер Бакстон Форман сказал мне, что он не верит в подлинность картины; но читатели *Писем о Шелли* (1917) увидят, что доктор Ричард Гарнетт придерживался противоположного мнения, и, насколько я знаю, того же мнения придерживался мистер У. М. Россетти. Некоторый отчет о встрече Уэста с Шелли и его воспоминаниях о Байроне можно найти в книге *Генри Теодора Такермана "Художники"*. Его портрет Байрона хорошо известен; и, кажется, нет ничего невероятного в рассказе о происхождении и сохранности другой картины, которая, безусловно, производит впечатление более соответствующей словесным описаниям Шелли в последние годы его жизни, чем почти мальчишеское лицо, столь знакомое по гравюрам.

Шелли - величайший из поэтов-пионеров цивилизации, и его влияние все еще очень далеко от расцвета: он "поэт молодежи" в том смысле, что будущие поколения будут все лучше и лучше понимать его.

Твоей мудрости не хватает лет, твоя мудрость растет
Вместе С нашим ростом и ростом нерожденного времени.[23]

VIII

ГОЛОСА ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ

Я страдаю от безмолвия и одиночества, но другой
Возвышает голос, чтобы сообщить мне, что мой брат
Путешествует теми же дикими тропами, хотя и вне поля зрения.
Джеймс Томсон (Б.В.).

ПОЭТЫ, как сказал Шелли, - это "иерофанты непостижимого вдохновения, зеркала гигантских теней, которые будущее отбрасывает на настоящее". Самое верное утешение в тех условиях, в которых все еще протекает жизнь людей, можно найти в высказываниях тех страстных писателей, поэтов или поэтов-натуралистов, как мы можем их называть, которые являются предвестниками более высокого социального состояния и, как таковые, обладают способностью подбадривать своих собратьев очарованием своей речи, хотя лишь немногие могут понять полный смысл их послания. Именно о некоторых из этих огней во тьме, об этих голосах вопиющего в пустыне я хотел бы сейчас рассказать.

На первый взгляд может показаться, что между Шелли и Джеймсом Томсоном, между оптимистом и пессимистом, между поэтом из "*Освобожденного Прометей*", чья вера в будущее была неизменной, и поэтом из "*Города Ужасной ночи*", который настолько отчаялся в прогрессе, что считал, что прежде чем мы сможем изменить настоящее, мы должны изменить прошлое. И все же именно на плечи Томсона опустилась мантия Шелли, поскольку они были певцами свободомыслия; и он был одним из первых из всех выдающихся писателей, осознавших величие того "поэта поэтов и чистейшего из людей", которому был посвящен его собственный *Рассказ Вэйна*. Хотя мы не согласны с пессимистическим утверждением, что мы являемся продуктом прошлого, которое заранее обрекло человеческие усилия на неудачу, мы

все же можем извлечь пользу из *настроения* пессимизма, подлинной грусти, которая присутствует во всех произведениях литературы и временами ощущается всеми мыслящими людьми; ибо в должном месте и пропорции она столь же реальна, как и противоположное настроение радости. Почему же тогда мрачное настроение должно старательно игнорироваться, как будто оно исходит из источника всего зла? Это что-то значит; это часть нас, и ее нельзя произвольно отбрасывать в сторону.

Такое замечательное стихотворение, как "*Город ужасной ночи*", не нуждается в извинениях; его оправдание - в его собственном величии и силе: подобная литература также не должна угнетать своим воздействием на сознание читателя, скорее (в правильной сфере и отношении) она является средством просвещения и помощи. Какой бы ни была тема и мораль стихотворения, в искусстве нет ничего печального, при условии, что форма и трактовка адекватны; нас не обескураживает, а подбадривает любое откровение чувств, выраженное искренне и благородно. Поэтому я считаю, что Томсон, каким бы пессимистом он ни был, в силу своего неукротимого мужества и любви к истине был одним из вдохновенных голосов демократии.

Более тридцати лет назад мистер Бертрам Добелл, друг и литературный душеприказчик Томсона, попросил меня написать Жизнеописание поэта; и при подготовке этой работы, которая включала в себя тщательный поиск разрозненных писем и других биографических материалов, я познакомился не только со многими личными друзьями Томсона, такими как мистер Чарльз Брэдло, мистер Г. В. Фут, мистер и миссис Теодор Райт, миссис Х. Брэдло Боннер, мистер Дж. У. Баррс, мистер Чарльз Уоттс и мистер Перси Холиоук, а также с некоторыми известными писателями, среди которых мистер Джордж Мередит, мистер Суинберн, мистер Уоттс-Дантон, мистер У. М. Россетти и мистер Уильям Шарп. На меня произвело впечатление то, с каким теплым уважением относились к памяти Томсона те, кто его знал, единственным исключением была угрюмая старая домовладелица с мрачной лондонской улицы, чьи замечания я принял к сведению как пример странно расплывчатых взглядов, которых придерживаются в некоторых кругах относительно функции биографа. Она не могла сообщить мне никакой информации о своем бедном жильце, за исключением того, что он "скончался"; но она добавила, что если я хочу написать о Жизни хорошего человека, настоящего христианина и абсолютного воздержанника — тут она с сомнением посмотрела на меня, как будто сомневаясь в моей способности осуществить ее предложение, — то есть ее дорогой покойный муж!

В другом случае старый друг Томсона, который рассказал мне много интересных фактов о его юности, задержал меня, когда я уже собирался уходить, и сказал задумчиво, словно стремясь вспомнить даже самую незначительную мелочь: "Кажется, я припоминаю, что Джимми однажды написал стихотворение на ту или иную тему". Какой, по его мнению, была моя цель при описании Жизни никому не известного армейского школьного учителя, за исключением того, что он *had* написал стихотворение, я так и не выяснил; возможно, идея заключалась в том, что биограф бродит, подобно льву, в поисках того, кого он может сожрать.

В литературных кругах всегда существовало сильное предубеждение против "Б.В.", обусловленное, конечно, его атеистическими взглядами и общим отсутствием "респектабельности" в его жизни и окружении. Мистер Уильям Шарп рассказал мне, что сразу после публикации "*Жизни Джеймса Томсона*" ему случилось путешествовать в Шотландию в компании мистера Эндрю Лэнга, и у него был с собой экземпляр книги, которую он

рецензировал для *Академии*. Он попытался вовлечь своего собеседника в разговор о Томсоне, но столкнулся с явным нежеланием обсуждать столь неординарную тему. Я не был удивлен, услышав это; но я был озадачен отказом, который я получил от мистера Суинберна разрешить мне опубликовать письмо, которое он адресовал мистеру У. М. Россетти несколько лет назад, в котором он высоко оценивал повествовательную поэму Томсона “Ведда и Ом-эль-Бонен”, которую он описал как обладающую “откровенной торжествующей силой”. Это письмо, как написал мне мистер Суинберн, было вдохновлено “несколько экстравагантным и некритичным энтузиазмом”, и теперь он довольно сурово осуждал Томсона, как человека, который, возможно, оставил после себя “респектабельное и запоминающееся имя”. Слово “респектабельный”, исходящее от автора *Стихотворений и баллад*, заслуживает внимания.

Примерно два года спустя, в 1890 году, непосредственная причина такого изменения мнения мистера Суинберна была объяснена мне не меньшим авторитетом, чем мистер Уоттс-Дантон, который пригласил меня нанести ему визит, чтобы поговорить о Торо. Во время прогулки по Патни-Хит с мистером Бернардом Шоу мистер Уоттс-Дантон рассказал мне историю свержения Джеймса Томсона; и поскольку аналогичное падение Уитмена и некоторых других ранних фаворитов Суинберна, вероятно, было вызвано тем же способом, этот процесс заслуживает того, чтобы о нем рассказать. Мистер Суинберн, как я уже говорил, восторженно восхвалял одно из стихотворений “Б.В.”. Однажды мистер Уоттс-Дантон сказал ему: “Я бы хотел, чтобы вы перечитали это стихотворение Томсона, поскольку я не вижу в нем каких-либо больших достоинств”. Несколько дней спустя Суинберн пришел к нему и сказал: “Вы совершенно правы. Я перечитал ‘Ведду и Ом-эль-Бонейн’ и нахожу, что в ней очень мало ценности”. Влияние Уоттса-Дантона на своего друга было настолько полным, что на самом деле существует два Суинберна: более ранний поэт-демократ, автор *Песен перед восходом солнца*, которого мистер Уоттс-Дантон еще не спас; и более поздний, респектабельный Суинберн, чьи наклонности были по большей части реакционными. Действительно, “потерянный лидер”! Вопреки пословице, обращение в данном случае должно исходить от Филиппа трезвого к Филиппу пьяному.

На ленче, следовавшем за нашей прогулкой, присутствовал мистер Суинберн, и нельзя было не заметить, что в личных делах, как и в своих литературных взглядах, он, казалось, почти зависел от мистера Уоттс-Дантона: он бежал к нему с новой книгой, как поэтический ребенок с игрушкой. Его дружелюбные манеры и вежливость были очаровательны, но его тонкое лицо, причудливый певучий голос и беспокойно подергивающиеся пальцы производили впечатление слабости. Я помню, он говорил о *Сандре Беллони* Мередита и *Диане из “Кроссвэйз”* и сетовал на их малоизвестность (“Вы можете их истолковать?”); затем о своих воспоминаниях об Итоне с дружескими расспросами о моем тесте, преподобном Дж. Л. Джойнсе, который был его наставником и завучем; также об одном из учителей французского, мистере Генри Тарвере, с которым он был в очень близких отношениях. Здесь, возможно, будет уместно сказать несколько слов о приключениях поэта в Итоне.^[24]

В книге Госса “Жизнь Суинберна” утверждается, что в легенде о том, что над ним издевались в Итоне, нет правды; однако фактом является то, что его итонская карьера не была совсем безоблачной. Мистер Джойнс обычно рассказывал, как однажды Суинберн подошел к нему перед школой и умолял позволить ему “не ходить в школу”, потому что он боялся встретиться лицом к лицу с мальчиками постарше, которые были временно прикреплены к его Подразделению — “эти ужасные мальчики”, как он их называл. “О, сэр, они носят фраки! Сэр,

они мужчины!” Просьба не была удовлетворена, но его наставник успокоил мальчика, прочитав вместе с ним Псалом, и таким образом укрепил его в перенесенном испытании.

Один очень характерный анекдот, к сожалению, был рассказан неправильно. Леди Джейн Суинберн приехала в Итон навестить своего больного сына и читала ему Шекспира, пока он лежал в постели. Когда она на время оставила его, горничную, которую она привела с собой, попросили продолжить чтение, и она так и сделала, в результате чего больной вскоре опрокинул на нее стакан воды, стоявший на столике у кровати. В версии, процитированной его биографом, стакан воды превратился в “банку варенья” — совершенно ошибочно, как я могу засвидетельствовать, поскольку я не раз слышал, как мистер Джойнс рассказывал эту историю.

Суинберну не разрешалось читать Байрона или Шелли, пока он учился в Итоне. В доме мистера Джойнса было несколько томов старых английских драматургов, и юный студент настойчиво просил разрешить ему прочесть их. “Можно ему почитать Форда?” Чтобы разрешить столь сложный вопрос, пришлось прибегнуть к совету мистера У. Г. Куксли, мастера, который, как считалось, “знал обо всем”; и мистер Куксли решил, что мальчик может прочитать все пьесы Форда, кроме одной — разумеется, той, название которой вызывает тревогу. Но это, как выяснилось, было то, что он особенно хотел прочесть!

Мистер Уоттс-Дантон был хорошо описан мистером Коулсоном Кернаханом как “герой дружбы”; и его личное дружелюбие проявлялось не только к выдающимся писателям, но и ко всем, кого он мог ободрить или помочь, и он ни в малейшей степени не обиделся, как бы резко ни критиковались его собственные высказывания. В рецензии на *“Город ужасной ночи”*, впервые вышедшую в виде книги (1880), он сказал, что Томсон писал в своем пессимистическом стиле, “потому что сейчас в моде быть ужасным”, отрицая искренность поэта, на которую я ссылался в своей книге *“Жизнь Джеймса Томсона”* как на одно из самых странных заблуждений. Когда я познакомился с мистером Уоттс-Дантоном, он упомянул об этом и других вопросах, касающихся Томсона, так добродушно, что я удивился, как он мог порой писать в столь несимпатичной и недостойной манере об авторах, которые ему не нравились. У поклонников Уолта Уитмена, в частности, были причины возмущаться действительно отвратительными вещами, которые о нем говорили; например, когда его сравнивали с дикарем, оскверняющим порог цивилизованного человека. Вряд ли можно сомневаться в том, что сам Уитмен, должно быть, был возмущен насмешками в его адрес со стороны Патни—Хит: один его друг сказал мне, что он говорил о Суинберне — *втором* Суинберне - как о “проклятом симулякре”.

Недоброжелательное отношение Суинберна к Томсону сильно отличалось от отношения Джорджа Мередита, как можно видеть из нескольких его писем ко мне, опубликованных в *“Жизни Джеймса Томсона”* и перепечатанных в *“Письмах Джорджа Мередита”*. Было внесено предложение, чтобы мистер Мередит сам написал отзыв о “Б.В.”; этого он сделать не мог, но разрешил мне использовать любые мнения, которые он высказал мне в письме или в беседе; я посетил его в Бокс-Хилл в 1891 году, и он очень долго беседовал на эту и другие темы. О Томсоне он говорил с чувствами, близкими к привязанности, не раз восклицая: “Бедный, дорогой парень! Я горько упрекаю себя в том, что не помог ему больше, устроив на работу в *Атенеуме*”. Но он сомневался, что в то время его можно было вернуть: раньше в жизни, как он думал, его могло бы спасти общество женщины, которая оказала бы ему сочувствие и помощь; кроме того, похвала, которая погубила многих писателей (он привел в пример Джорджа Элиота и Диккенса с несколькими резкими замечаниями в адрес обоих), была бы полезна “Б.В.”, который был таким

храбрым и честным. Он сам, по его словам, часто испытывал, каково это - не получать никакого признания, и иногда, когда он отрывал взгляд от своих записей и видел далекое поле, залитое солнечным светом, он думал: "Должно быть, хорошо быть в тепле". Что больше всего его восхищало в Томсоне, так это его решительное, ясное мужество. В их разговоре не было упоминания о пессимизме, за исключением того, что, когда он говорил о самых светлых и самых мрачных настроениях Природы, Томсон ответил: "Я не вижу ничего светлого".

Мередита, очевидно, оттолкнуло это евангелие отчаяния; он сказал, что написание "*Города ужасной ночи*" не принесло его автору никакой пользы, поскольку он воплотил там свои более мрачные образы в постоянную форму, которая, в свою очередь, подействовала на него и сделала его еще более подавленным. Он считал "Ведду и Ом-эль-Бонен" шедевром Томсона и лучшим из имеющихся у нас повествовательных стихотворений: "Где вы можете найти равного ей?" Я рассказал ему о том, что Суинберн изменил мнение по этому поводу, и он тут же ответил: "Вы знаете, *это* чьих рук дело". Последовал шуточный рассказ о том, как Уоттс-Дантон рецензировал его собственные стихи в "*Атенеуме*". "Мы всегда относимся ко всему, что делает мистер Мередит, с уважением". "Вы знаете, - сказала Мередит, " что означает такое начало". В последнее время он перестал рассылать обзорные экземпляры своих стихов, испытывая отвращение к некомпетентности критиков. "В стране очень много викариев, - добавил он, - и тот факт, что многие из них в свободное время делают небольшие рецензии, не способствует возвышению литературы".

О социальных проблемах он говорил свободно; особенно решительно об определенных переменах, которые грядут, когда женщины обретут экономическую независимость. Бесконечное зло приносит расе брак без любви. Но он предполагал, что женщинам потребуется шесть или более поколений, чтобы избавиться от интеллектуальных безумств, которые они сейчас унаследовали от своих бабушек.

За обедом мистер Мередит говорил о своем отвращении к мясной пище и о своем уважении к простоте во всех формах и решительно заявил, что было бы большой ошибкой предполагать, что его собственные эксперименты в области вегетарианства нанесли ущерб его здоровью. Тем не менее, если бы он попробовал эту диету снова, он знал, как его друзья объяснили бы ему, что "невозможно жить без мяса", или (это в драматично-саркастических тонах), что "если это возможно для *некоторых* людей, то для *меня*".^[25] Я был поражен его огромной добротой как хозяина; на самом деле он чрезмерно заботился о благополучии гостей-вегетарианцев.

Официальность и щепетильность манер мистера Мередита с его несколько церемонными жестами и произношением, возможно, произвели довольно неблагоприятное впечатление на посетителя при первом знакомстве; но через несколько минут это впечатление рассеялось, и чувствовались только живость и очарование его беседы. Это был непрерывный поток эпиграмм, во многих случаях столь же язвительных, как и в его книгах; во время них я обратил внимание на сильную чувствительность и выразительность его рта, на ироничную усмешку, когда он отпускал сарказмы в адрес критиков, викариев и сентименталистов всех мастей. У него был удивительно острый и пронизывающий взгляд, и он внимательно следил за эффектом своих замечаний, так что даже угнаться за ним как за слушателем требовало значительного умственного напряжения. Именно вследствие того, что я упомянул об этом мистере Бернарду Шоу несколько дней спустя, он сделал свое спортивное предложение, что, если его отвезут в Бокс-Хилл, он "начнет говорить, как только войдет в дом, и не даст Мередит вставить ни слова".

В биографии Мередит г-на С. М. Эллиса Шоу цитируются слова о том, что предложение исходило от г-на Клемента Шортера или от меня: это, однако, совершенно неверно, поскольку предложение было его собственным и слишком опрометчивым, чтобы иметь какой-либо другой источник. Подобная встреча, если бы она состоялась, была бы, как льстил себе Шоу, не монологом, а сражением столь колоссального масштаба, что страшно размышлять о результате: все, что кажется несомненным, это то, что она продолжалась бы до тех пор, пока не был нанесен решающий удар, и что на могиле того или иного из коллоквиумов должен был быть начертан *hic tacet*.

Я заметил определенное сходство в профиле Мередита с профилем Эдварда Карпентера (его можно увидеть на некоторых фотографиях); и это было тем более удивительно, что из-за несхожести темпераментов двух мужчин крик Мередит о “Побольше ума, о Господи, побольше ума!” контрастировал с довольно пренебрежительными отзывами Карпентера о “блуждающем безумном разуме”. И все же Мередит тоже был апостолом Природы; его демократические инстинкты безошибочны, хотя сцены его романов в основном разворачиваются в аристократическом окружении, так что его “призыв к простоте” исходил “из самого лагеря искусственности”. Такого взгляда на его философию я придерживался в статье “Уроки природы от Джорджа Мередита”, опубликованной в “*Фри Ревью*”, в отношении которой мистер Мередит написал: “Приятно, когда тебя ценят, но главное удовольствие для меня - видеть, что суть моей работы правильно понята”.

Мистеру Бертраму Добеллу, известному книготорговцу, чье имя так тесно связано с издательствами Thomson и Traherne, я был обязан большим количеством информации о книгах и авторах книг, предоставленной в его уютном магазинчике на Чаринг-Кросс-роуд, который был местом приятных воспоминаний для стольких литераторов. У меня были особые причины быть благодарным ему за то, что он направил меня к произведениям Германа Мелвилла, чей необычайный гений, проявленный в таких шедеврах, как *Тайпи* и *Кит*, был настолько необъяснимо проигнорирован или недооценен, что его имя до сих пор часто путают с именем Уайта Мелвилла или Германа Меривейла. Мелвилл был большим поклонником Джеймса Томсона; он ясно дал это понять в нескольких письмах, адресованных английским корреспондентам, в которых он описал “*Город ужасной ночи*” как “современную Книгу Иова в оригинальной форме, сумеречно вырисовывающуюся с теми же туземными истинами”, и написал об одном из более легких стихотворений, что “*Воскресенье вверх по реке*, контрастирующее с *Городом ужасной ночи*, похоже на кубинскую колибри, прекрасную в сказочных тонах, летящую против тропической грозы”.

Мистер Добелл был человеком очень активного ума, и у него всегда были на примете какие-нибудь дальнейшие литературные проекты. Одной из задач, о которой он рассказал мне незадолго до своей смерти, было написать книгу о своем друге Джеймсе Томсоне; и очень жаль, что это не удалось осуществить. Другой план — несомненно, один из самых странных, когда-либо задуманных, - состоял в том, чтобы воспроизвести или переписать стихи Уолта Уитмена в строфах Омара Хайяма: предложение, которое напомнило мне благотворный план Фурье или другого раннего коммунистического деятеля по превращению вод океана в лимонад. Трудно говорить о “*Листьях травы*” и *Рубайяте* на одном дыхании; и все же однажды я услышал стихотворение Омара Хайяма, упомянутое в еще более странной связи священнослужителем, который был “самодержцем за обеденным столом” в отеле, где я остановился. Внезапно прервав свою застольную беседу, он оказал мне честь, посоветовавшись со мной по

небольшому вопросу об авторстве. “Я прав, не так ли, — сказал он, - предполагая, что переводчиком Омара Хайяма был Эмерсон?”

Опыт мистера Добелла в области книговедения был долгим и разнообразным, и он мог рассказать несколько превосходных историй, одна из которых особенно поразила меня, поскольку свидетельствовала о редком запасе проницательности, а также профессиональных знаний. Однажды он пропал из своего магазина очень редкую и ценную книгу при обстоятельствах, которые сделали для него несомненным, что ее забрал увлеченный коллекционер, который разговаривал с ним в тот самый день, хотя о книге не было сказано ни слова. Добелл был сильно встревожен, пока не придумал план, который был одновременно самым простым и тактичным, какой только можно было себе представить. Без каких-либо запросов или объяснений он прислал счет за книгу, как и положено по делу, и счет был должным образом оплачен.

Благодаря *антологии* “Песни свободы”, изданной мной в 1892 году, я вступил в переписку со многими писателями-демократами, некоторые из которых, особенно мистер Джеральд Мэсси и мистер У. Дж. Линтон, проявили большой интерес к моей работе и оказали мне ценную помощь. Знаменитые стихи доктора Джона Келлса Ингрэма “Люди девяносто восьмого” были включены в книгу; и поскольку иногда выражалось любопытство относительно того, насколько чувства этого стихотворения совпадают с более поздними взглядами его автора, возможно, стоит упомянуть, что, разрешая мне опубликовать их, я даю согласие на публикацию. перепечатав эти строфы, он написал следующее: “Вы не подумаете, что излишнее юности в точности отражает убеждения мужчины. Но я никогда не стыдился того, что написал эти стихи. Они были плодом искреннего чувства”. Запрос на вдохновенные строки Хоакина Миллера “Софи Перовская” принес мне письмо от ветерана-автора этой очень красивой книги “*Жизнь среди модоков*” (произведение искусства, достойное того, чтобы быть поставленным в один ряд с “Машинописью” *Германа Мелвилла*), которое было одним из самых странных почерков, которые я когда-либо получал, казалось, что оно написано куском дерева, а не ручкой, но более чем компенсировало своей сердечностью труд, необходимый для его расшифровки: “Сердечно благодарю вас Я давным-давно устыжен своей дерзостью, когда опубликовал то, что я сделал в милой старой Англии. Я надеюсь написать что-нибудь действительно стоящее, чтобы вы прочитали, прежде чем я умру”. Но *это* он сделал задолго до этого.

Щедрость, с которой авторы стихов позволяют использовать свои стихи в антологиях, очень радует редактора; тем более, что такое переиздание далеко не всегда приносит пользу самим авторам. Мистер Джон Аддингтон Саймондс был примером поэта, который, как он сказал мне, сильно пострадал от составителей антологий, особенно в отношении некоторых строк из его часто цитируемых строф “A Vista”, которые в оригинале звучали так:

Нация с нацией, земля с землей,
Вооруженные люди будут жить как свободные товарищи.

“Безоружный” означало связанное братство, но, поскольку это слово было странным, в некоторых сборниках оно было заменено на “безоружия”, и в этой более простой форме оно совершенно вышло из-под контроля мистера Саймондса. Эта ошибка все еще продолжает повторяться и распространяться и практически заняла место авторизованного текста. Истина, как говорится, может быть велика, но она не всегда восторжествует.

Мистер Дж. А. Саймондс, как и его друг мистер Роден Ноэль, в доме которого я его встретил, был одним из тех писателей, которые, начав с чисто литературной точки зрения, в конце концов пришли к демократическому взгляду на жизнь. Его высокая оценка Уитмена хорошо известна; и он сказал мне, что с тех пор, как он написал свое исследование о Шелли для серии "Английские литераторы", он изменил некоторые из своих взглядов в более продвинутом шеллианском направлении.

Роберт Бьюкенен был еще одним другом Родена Ноэля, с которым я познакомился и поддерживал длительную переписку. Его более поздние произведения, из-за их демократических тенденций и крайней откровенности, привлекли гораздо меньше общественного внимания, чем более ранние; в "*Новом Риме*", в частности, было несколько резких стихотворений, осуждающих дикость агрессивного милитаризма и защищающих интересы слабого и страдающего народа, будь то человек или недочеловек, против тиранов и сильных. В последние годы жизни гуманитарные симпатии Бьюкенена стали настолько заметными, что, когда в 1903 году мисс Харриет Джей писала его биографию, меня попросили написать главу на эту тему.

Составитель антологий, как я уже говорил, встречает много любезностей со стороны поэтов, и все же его путь не совсем усыпан розами. Когда я взялся за эту работу, мистер Бернард Шоу предупредил меня, что единственным определенным результатом будет то, что я навлеку на себя концентрированное негодование всех заинтересованных авторов: этот прогноз был далек от подтверждения; но в одном или двух случаях я действительно стал замечать определенные симптомы раздражения со стороны знакомых поэтов, чьи собственные песни о свободе, к несчастью, ускользнули от моего внимания. Тогда чрезмерное беспокойство некоторых авторов по поводу того, какие из их шедевров следует включить, а какие не включать, порой становилось испытанием для редактора. Один из моих авторов, вращавшийся в высших кругах, был обеспокоен мыслью о том, что некоторые члены королевской семьи из числа его знакомых могут пострадать от его обвинений в адрес тиранов: "но если царь, - писал он, - заберет это себе, я буду только рад". Получили ли издатели серии "Кентерберийские поэты" какой-либо протест от царя или других коронованных особ, я так и не узнал.

Но если поэты - предтечи будущего общества, то и "поэтам-натуралистам" должна быть отведена аналогичная функция. О Торо, которому этот титул был присвоен первым и наиболее подходящим образом, я уже говорил; и его гений, который для меня, рядом с гением Шелли, был самым удивительным из знамений девятнадцатого века; отпрыск будущего, распускающийся, подобно какому-то чужеродному полевому цветку, неклассическому и непостижимому: как и мудрость Шелли, его мудрость все еще намного опережает наш век, и ей суждено получать все большее признание.

Именно с этой мыслью я написал биографию Торо, в выполнении которой мне оказали ценную помощь его оставшиеся в живых друзья, мистер Харрисон Блейк, мистер Дэниел Рикетсон, мистер Фрэнк Б. Сэнборн, доктор Эдвард Эмерсон и другие. С мистером Сэнборном, последним из группы "Конкорд", я переписывался почти тридцать лет, и у меня было несколько продолжительных бесед с ним во время его визитов в Англию: он был человеком большой эрудиции и необыкновенной памяти, так что запас его информации, накопленный за долгую жизнь, был почти энциклопедическим. Я многое узнал от него о Конкорде и его знаменитостях; и он сотрудничал со мной в редактировании сборника "Стихотворения о природе" Торо,

который был опубликован в 1895 году. Мистер Дэниел Рикетсон, “мистер Д.Р.” из “Писем” Эмерсона, был еще одним другом, которому я был очень обязан; его переписка со мной была напечатана в мемориальном сборнике “Дэниел Рикетсон и его друзья”, в 1902 году. Никто не оказал мне большей помощи и ободрения, чем самый пылкий из учеников Торо, доктор Сэмюэл А. Джонс из Анн-Арбора, Мичиган, который вместе со своим коллегой-энтузиастом, мистером Альфредом В. Хосмером из Конкорда, в разное время присылал мне большое количество *Тороауаны* и позволил мне внести ряд исправлений и дополнений в более позднее издание “Жизни”. Именно благодаря нашей общей любви к Торо я впервые познакомился с мистером У. Слоуном Кеннеди из Бельмонта, штат Массачусетс, истинным любителем природы, с которым у меня было много приятных и дружеских отношений как лично, так и по переписке.

Ричард Джеффрис, в отличие от Шелли или Торо, был настолько пессимистом, что верил, что “жизни, потраченные на добрые дела, были жизнями, благородно потраченными впустую”; но, будучи убежден, что “все худшее, что может сказать худший пессимист, намного ниже малейшей частицы правды, настолько огромны страдания человека”, он все же мог чувствовать надежду на улучшение в будущем. “Прекрасно осознавая, что все потерпело неудачу, но бок о бок с печалью от этого осознания, во мне все еще живет неугасимая вера, мысль, горящая, как солнце, что еще есть что-то, что нужно найти, что-то реальное, что-то, что даст каждой отдельной личности солнечный свет и цветы в ее собственном существовании сейчас”. Если когда-либо существовало вдохновенное произведение, настоящая книга пророчеств, такой книгой является “История моего сердца” Джеффриса, в которой его взгляд устремлен на будущее общество, где термин “нищий” (“невыразимо злое слово”) был написан Джеффрисом. неизвестно, выступит ли он с резким осуждением нынешнего отсутствия справедливого распределения, из-за которого основная часть человеческой расы все еще трудится ради средств к существованию и крова.

В исследовании о жизни и идеалах Джеффриса, опубликованном в 1894 году, я обратил внимание на заметную перемену, произошедшую в последние годы его жизни во взглядах на социальные и религиозные вопросы, на созревание мысли, сопровождаемое соответствующим развитием литературного стиля, которое можно измерить огромным превосходством *Повести* над такими книгами, как “*Домашний егерь*”; и в связи с этой темой я указал, что инцидент, описанный сэром Уолтером Безантом в его *панегирике Ричарду Джеффрису*, о возвращении к христианской вере на смертном одре в то время, когда Джеффрис был физически и интеллектуально разбит, и его нельзя было принять за то, что он каким-либо образом опроверг авторитетное изложение своих религиозных убеждений, которое он сам опубликовал в своем *Рассказе*. За это в нескольких статьях меня упрекали в искажении биографии в интересах моих собственных предвзятых мнений; но несмотря на это порицание, не говоря уже о том, что мои взгляды разделяли те друзья и ученики Джеффриса, с которыми я общался, у меня был один неожиданный источник утешения в том факте, что сэр Уолтер Безант сказал мне в частной переписке, что из того, что он узнал после публикации его *Панегирика*, он был убежден, что я совершенно прав. Я обнародовал это только много лет спустя, когда вышло новое издание моей книги: тогда в прессе последовали новые протесты; но это не повторилось, когда мистер Эдвард Томас в последней и самой полной биографии Джеффриса отверг предполагаемое обращение как неправильное толкование “узкими сектантами”, которые игнорировали зрелый труд Джеффриса.

Я подумал, что стоит обратиться к этим фактам не потому, что они сами по себе важны, а как к иллюстрации процесса христианизации, который часто с безграничной наглостью продолжается “религиозными” писателями после смерти вольнодумцев. Другой пример можно увидеть в деле Фрэнсиса У. Ньюмана, где была предпринята аналогичная попытка представить его как человека, отказавшегося от своих собственных осознанных убеждений.

От Джеффериса мысли естественным образом переходят к мистеру У. Х. Хадсону. Должно быть, прошло более двадцати пяти лет с тех пор, как благодаря гостеприимству миссис Э. Филлипс из Кройдона, страстной любительницы птиц и гуманитария, мне посчастливилось познакомиться с мистером Хадсоном и его книгами. Философ и проницательный наблюдатель всех форм жизни, он далек от того, чтобы быть только орнитологом; но есть определенные симпатии, которые порождают своего рода естественное масонство среди тех, кто их испытывает; и из них одной из самых приятных и человеческих является любовь к птицам — не к приготовленным птицам, если хотите, связанным с воспоминаниями о “застольных удовольствиях”, ни к птицам в клетках в гостиных, ни к чучелам птиц в музеях; но к настоящим птицам, живым птицам, диким птицам, свободным проявлять свои чудесные способности. способности к полету и пению. Из этой любви возникла соответствующая литература о птицах; и из известных имен среди пророков и толкователей жизни птиц последним и, на мой взгляд, величайшим является имя мистера Хадсона: его книги в немалых главах и отрывках поднимаются над уровнем простой естественной истории и воздействуют на воображение читателя так, как может воздействовать только великая литература. Хотя он писатель неравноправный и, возможно, несколько бессистемный в своей манере работы, все же в своих лучших проявлениях он величайший из ныне живущих мастеров английской прозы. Такие книги, как *"Натуралист из Ла-Платы"* и *"Природа в Даунленде"* (назову только две), являются классикой, которую никогда нельзя забыть. И следует отметить, что влияние мистера Хадсона все больше и больше оказывалось на стороне того гуманного изучения естественной истории, которое взял на вооружение Торо: его вердикт в недвусмысленных выражениях направлен против варварских привычек егерей и птицеловов, модных модисток и коллекционеров-любителей “образцов”.

Если бы для произведений мистера Хадсона требовалось какое-то одно название, то название одной из его ранних книг *"Птицы и человек"* было бы наиболее подходящим; поскольку в его натуре, похоже, почти смешались птичье и человеческое: иногда мне казалось, что он, должно быть, потомок Пикуса или какого-то другого доисторического героя, превратившегося в птицу. В *"Энеиде"* Вергилия есть отрывок, где Диомед представлен оплакивающим, как "страшное чудо", такую метаморфозу своих спутников.

Потерянные друзья, преобразенные птицы, взмывайте ввысь
Или наполняйте скалистый простор жалобными криками.

Но если бы такая превратность судьбы постигла кого-либо из друзей мистера Хадсона, я уверен, что он был бы далек от того, чтобы быть встревоженным этим, он смог бы продолжить свое знакомство с ними с полным пониманием: они ни в коем случае не были бы “потеряны” из-за

того, что были пернатыми. Для него гораздо более страшным чудом является дикая мода носить шкуры и перья убитых птиц в качестве декоративных головных уборов.

Одним из самых преданных последователей этой новой школы естественной истории и сам выдающийся натуралист был доктор Александр Х. Джепп, который под псевдонимом “Х. А. Пейдж” написал первый отчет о Торо, опубликованный в этой стране. Я помню много приятных бесед с ним, особенно о визите, который он нанес мне вместе с мистером Уолтоном Рикетсоном, скульптором, сыном того близкого друга Торо, о котором я уже говорил. Уолтон Рикетсон был мальчиком в то время, когда Торо навещал своего отца в Нью-Бедфорде; но он присутствовал при том случае, когда серьезный уолденский отшельник удивил компанию внезапным веселым порывом, который побудил его спеть “Тома Боулинга” и исполнить импровизированный танец, в котором, как говорят, он шел в такт музыке, но исполнил несколько па, больше похожих на индейские, чем на обычные балльные фигуры.

Доктор Джепп также был биографом Де Квинси и благодаря своему сочувственному пониманию многое сделал для исправления пренебрежительных суждений, вынесенных об “английском потребителе опиума” многими критиками и журналистами. В результате исследования Де Квинси, которое я опубликовал в 1904 году, три года спустя я познакомился с мисс Эмили де Квинси (именно так она написала свое имя), его последней оставшейся в живых дочерью. Она была в высшей степени очаровательной пожилой леди, полной живости и юмора; и ее письма, которых я получил немало, были написаны с живостью, напоминающей о ее отце в его приподнятом настроении; некоторые из ее воспоминаний тоже были очень интересными. Она вспомнила опиум, графин и стакан, стоявшие на каминной полке, когда она была ребенком, но она сказала, что Де Квинси полностью отказался от употребления наркотика за много лет до своей смерти. Она сказала мне, что недовольство ее отцом, которое часто находило выражение в “гротескных описаниях” его, было отчасти вызвано его пренебрежением отвечать на письма, многие из которых были очень лестного характера, адресованные ему читателями его книг; небрежность, которая объяснялась не каким-либо недостатком вежливости или благодарности, а его закоренелым промедлением; он всегда собирался написать “завтра” или “когда у него будет хорошее перо”. Однажды поклонник написал ему из Австралии, умоляя рассказать “несколько истин”, которые он мог бы передать своему маленькому сыну (которого называли в честь Де Квинси), когда тот сможет их понять. Де Квинси печально сказал своей дочери: “Моя дорогая, правды у меня сейчас очень мало. Как ты думаешь, если бы я отправил пару ложных сообщений, они соответствовали бы цели?” Она боялась, что он никогда не говорил ни правды, ни лжи. Среди оставшихся без ответа писем, которые получил ее отец, она вспомнила, что было одно из “трех братьев”, сопровождаемое сборником стихов “Каррера, Эллиса и Эктона Белла”. Больше всего Де Квинси поразили стихи Эллиса, но только годы спустя они догадались, что эти “братья” были переодетыми сестрами Бронте.

Если бы рецензенты, оценивая творчество великого писателя, не придерживались обычной практики опускать, насколько это возможно, любые упоминания о проявленных им гуманных симпатиях, было бы странно, что Де Квинси был представлен просто как “мечтатель” и провидец; ибо, по правде говоря, несмотря на трансцендентальный торизм своей политики, он был во многих отношениях пионером передовой гуманитарной мысли, особенно в вопросе телесных наказаний, о которых он говорил сто лет назад с достоинством и дальновидностью, которые могли бы посрамить многих современных слепых “прогрессисты”. Его глубокое уважение к страдающему человечеству является одной из самых благородных черт в его

произведениях; он радовался, например, вмешательству парламента в дело исправления “губительного социального зла” женского труда на шахтах; и он говорил о жестокости того духа, который мог смотреть “легко и снисходительно на трогательное зрелище женской проституции”. “Все, чем я когда-либо наслаждался в жизни, - сказал он, - кажется, восстает, чтобы упрекнуть меня в моем счастье, когда я вижу такое несчастье и думаю, что его так много в мире”. Забавно читать критические замечания о “недостатке моральных устоев” Де Квинси, написанные критиками, которые отстают от него более чем на столетие в некоторых вопросах, позволяющих однозначно оценить продвижение человека от варварства к цивилизации.

IX

ЛИГА ГУМАННОСТИ

Hommes, soyez humains. C’est votre premier devoir. Quelle sagesse y a-t-il pour vous, hors de l’humanité.—Rousseau.

От изречений поэтов и пророков я теперь возвращаюсь к реалиям нынешнего состояния. Тридцать лет назад уже существовал ряд обществ, которые стремились очеловечить общественное мнение не только в отношении войны, но и в отношении различных других диких и нецивилизованных практик. Вегетарианское общество, основанное в 1847 году, выступало за радикальную поправку; а дело зоофилии, представленное Королевским обществом по предотвращению жестокого обращения с животными, укрепилось благодаря созданию нескольких обществ по борьбе с вивисекцией. Аналогичным образом филантропические тенденции того времени в отношении управления тюрьмами и наказания или реабилитации правонарушителей нашли отражение в работе Ассоциации Говарда.

Целью Гуманитарной лиги, которая была образована в 1891 году, было провозгласить *общий* принцип гуманности, лежащий в основе различных разрозненных усилий, и показать, что, хотя несколько обществ неизбежно работали по разным направлениям, они, тем не менее, были вдохновлены и объединены едиными узами товарищества. Сторонники Лиги ясно видели, что варварская практика не может быть философски осуждена ни на каком другом основании, кроме широкого демократического чувства всеобщего сочувствия. Человечество и наука между ними взорвали освященную веками идею о жесткой границе между белым человеком и черным, богатым человеком и бедным человеком, образованным человеком и необразованным человеком, хорошим человеком и плохим человеком: столь же невозможно поддерживать, в свете новых знаний, идею о том, что существует какая-либо разница в виде, а не только в степени, между человеческим и нечеловеческим интеллектом. Освобождение людей от жестокости и несправедливости со временем приведет к освобождению и животных. Эти две реформы неразрывно связаны, и ни одна из них не может быть полностью реализована в одиночку.

Мы прекрасно понимали, что движение такого характера не встретит народной поддержки; напротив, те, кто примет в нем участие, будут рассматриваться как “чудаки” и “провидцы”; но мы также знали, что истиной было прямо противоположное этому, и что, хотя предполагалось, что мы просто строим “воздушные замки”, на самом деле мы следовали самым практичным советам Торо *изкладывали под них фундамент*. Ибо что является “основой морали”,

заложенной таким великим мыслителем, как Шопенгауэр, кроме как само это учение о всестороннем и обоснованном сочувствии?

За год или два до основания Лиги я прочитал на собрании Фабианского общества статью о “Гуманизме”, которая впоследствии послужила отправной точкой для публикаций Лиги. Идея гуманного общества с более широкими рамками, чем у любой ранее существовавшей организации, была предложена мистером Говардом Уильямсом; и именно в доме очень верного друга нашего дела, миссис Льюис (ныне миссис Дракулз), на Парк-сквер, Лондон, небольшая группа людей, среди которых были миссис Льюис, мистер Эдвард Мейтленд, мистер Говард Уильямс, мистер Кеннет Романес, и настоящий автор,^[26] собрались в начале 1891 года, чтобы составить манифест и основать Гуманитарную лигу. Название “гуманитарный” было выбрано потому, что, хотя мы полностью осознавали определенные возражения против этого слова, мы чувствовали, что это единственный термин, который в достаточной степени выражает наш смысл, и что, независимо от того, хорошее это имя или дурное, оно должно быть принято, как перчатка, теми, кто намеревается сражаться за дело, которое оно обозначает.

Ибо Лига была создана для того, чтобы быть сражающимся, а не говорящим Обществом, даже если это была жалкая надежда. В интересном письме, зачитанном на первой встрече, наш друг—ветеран, профессор Фрэнсис У. Ньюман, выразил мнение, что еще не пришло время для такого предприятия, как утверждение гуманитарной этики; но мы пришли к выводу, что, каким бы малым ни было начало, много пользы принес бы систематический протест против многочисленных проявлений варварства того времени - жестокости, причиняемой людьми людям, и еще более жестокого обращения с низшими животными.

Эдвард Мейтленд, который, несмотря на свои преклонные годы, проявлял большой интерес к нашим встречам, сделал довольно выдающуюся карьеру путешественника, писателя и мистика; а его более ранняя книга *"Пилигрим и святыня"* была широко прочитана. Те, кто знал его только как оккультиста, были бы удивлены, увидев, насколько он был чрезвычайно критичен — на грани щепетильности — в обсуждении практических вопросов; в том комитете не было никого, кто мог бы принести больше пользы в проливании холодного света разума на наши консультации, чем соавтор *"Очень странных откровений"* доктора Анны Кингсфорд. В то время, когда я его знал, он писал свой *великий опус* *"Жизнь Анны Кингсфорд"* и часто после заседания комитета откровенно рассказывал мне о своих духовных переживаниях, возможно, к удивлению наших попутчиков по железной дороге или трамваю: однажды он описал мне на крыше омнибуса, как ему выпала честь быть созерцателем Великого Белого Трона. В этих повествованиях было что-то настолько естественное и подлинное, что заставляло слушателя проявлять почтительное внимание, каковы бы ни были его личные убеждения относительно реальности описываемых видений.

Мистер Говард Уильямс, с другой стороны, был таким же ярко выраженным рационалистом, как Мейтленд мистиком, и тем, кто словом и пером, в частном порядке и публично, был тихим, но неутомимым поборником гуманитарного дела. Его *"Этика диеты"*, которая позже удостоилась высокой оценки Толстого, чье эссе под названием *"Первый шаг"* было написано в качестве предисловия к его русскому переводу книги, представляет собой настоящую кладезь знаний, охватывающих все периоды истории и охватывающих не только предмет гуманной диетологии, но и всю область отношения человека к нечеловеческим расам: если бы Этические общества были предназначены для чего-то большего, чем места дискуссий, они бы давно включили эту

работу в число своих стандартных учебников. Для написания такого трактата мистер Уильямс был особенно подготовлен тем фактом, что с обширными классическими знаниями он в замечательной степени объединил новый дух и энтузиазм человечества; он был в самом прямом смысле студентом и профессором *гуманитарной литературы*. Трудно точно оценить результаты таких трудов, как его, но в том, что они оказали заметное влияние на формирование более гуманного общественного мнения, сомневаться не приходится.

Комитет постепенно укреплялся за счет включения таких опытных работников, как преподобный Дж. Стрэттон, полковник У. Лайл Б. Коулсон, миссис Л. Т. Маллет, мистер Дж. Фредерик Грин, мисс Элизабет Мартин, первый секретарь Лиги, и мистер Эрнест Белл, сотрудник известной издательской фирмы, а ныне президент Вегетарианского общества, который более двадцати лет был оплотом силы в качестве председателя и казначея. Кампания против Королевских Борзых сразу вызвала уважение; памфлеты были хорошо замечены прессой - возможно, лучше в те дни, когда они были еще в новинку, чем позже, когда они воспринимались как нечто само собой разумеющееся, — было проведено несколько успешных собраний, и общий интерес, проявленный к деятельности Лиги, был совершенно непропорциональнее ее численному составу.

Именно в 1895 году начался второй этап карьеры Лиги с приобретения офиса на Грейт-Куин-стрит и учреждения ежемесячного журнала "*Человечество*", названного так сначала потому, что его более позднее название "*Гуманитарный*" в то время было присвоено другому изданию. Проведение Национальной гуманитарной конференции в ратуше Сент-Мартина в том же году было первым крупным общественным мероприятием Лиги, которое привлекло большое внимание; и масштабы работы были значительно расширены за счет создания специальных отделов, занимающихся такими вопросами, как спорт, уголовное право и тюремная реформа, гуманное питание и одежда, образование детей; и за счет гораздо более широкого использования прессы в качестве средства пропаганды, в этой сфере Лига теперь могла воспользоваться услугами мистера Джозефа Коллинсона, чьи многочисленные письма в прессу вскоре стали отличительной чертой ее деятельности. Летом 1897 года Лига перенесла свою штаб-квартиру на Чансери-лейн, где и оставалась до своего упразднения в 1919 году.

Вскоре Лига оказалась вовлечена в разного рода споры. Небольшая книга под названием "*Права животных*", которую я написал по просьбе моего друга, мистера Эрнеста Белла, и которая была опубликована его фирмой в 1892 году, вызвала много дискуссий и выдержала множество изданий, помимо того, что была переведена на французский, немецкий, голландский, шведский и другие языки. Среди его первых критиков был профессор Д. Г. Ричи, который в своей работе *о естественных правах* утверждал, что, хотя "можно сказать, что у нас есть обязанности по доброте по отношению к животным, неверно представлять их как строго обязанности по отношению к самим животным, как если бы у них были права против нас". (Курсив выделен мистером Ричи.) Это головоломка для тебя, читатель. Я понял это так, что в обязанности человека проявлять доброту входит только доброта по отношению к животным, долг - это личное дело человека; удобство такого устройства заключается в том, что человек может отключить проявление доброты, когда ему это удобно, доброта - это, так сказать, вода, а долг - кран. Например, когда возник вопрос о вивисекции, мистер Ричи сразу же отключил источник доброты, хотя он очень щедро включил его, когда одобрил гуманитарные протесты против варварства спорта.

Мы с самого начала отказались уступить этому софистическому спору по вопросу, имеющему большое практическое значение, и ясно дали понять, что мы участвуем не в словесной битве, а в битве за этическое поведение, и что, хотя мы были бы вполне готовы заменить термин “права” на лучший, если бы можно было найти лучший, мы не допустили бы манипулирования концепцией человеческих “обязанностей” или “прав” животных, наглядный пример чего приводится в книге мистера Ричи. Тем временем слово “права” прочно вошло в обиход.

Старая католическая школа, конечно, была настроена враждебно по отношению к признанию прав животных, и у нас были разногласия с монсеньором Джоном С. Воаном, среди других писателей-священнослужителей, когда он выдвинул древнее утверждение о том, что “животные существуют для использования и блага человека”. Можно усомниться, не является ли спор пустой тратой времени, когда существует фундаментальное расхождение во мнениях относительно данных и принципов: единственной причиной таких дебатов было убедиться, что гуманитарный взгляд на вопрос был справедливо представлен общественности, и показать, насколько странным был союз между священнослужителем и вивисектором. Эволюционная наука, вне всякого сомнения, продемонстрировала родство всей разумной жизни; и все же ученые, чтобы найти моральную защиту своим поступкам, снисходит до того, чтобы прибегнуть к тем же доводам, что и теолог, и, избавившись от старой антропоцентрической ошибки в сфере науки, пользуется этой ошибкой в сфере этики: будучи прогрессивным в одной области мысли, он все еще остается сторонником средневековья в другой.

Таким образом, ученый и священнослужитель между собой увековечили бы экспериментальные пытки лаборатории. *Laboratorium est oratorium* было старой поговоркой; теперь католическая школа вивисекционистов должна расширить ее до *laboratorium est oratorium*: дом пыток - это дом молитвы. Это прекрасная и трогательная сцена примирения, эта встреча священника и профессора над корытом для пыток беспомощного животного. Они могли бы воскликнуть словами Теннисона:

Там, над маленькой могилкой,
О, там, над маленькой могилкой,
Мы снова поцеловались со слезами.

Еще более волнующей была дискуссия, когда мистер Г. К. Честертон выступил на ристалище в качестве защитника тех высоких прерогатив Человечества, которым, по его мнению, угрожали зловещие ухищрения гуманитариев, которые, как он объяснил в одной из своих книг, “поддерживают притязания всех существ вопреки притязаниям человечества”. Дебаты с мистером Честертоном происходили в Эссекс-холле; и в течение нескольких лет после этого спор время от времени возобновлялся, как, например, при рецензировании моей книги *Ологике вегетарианства*, он настаивал[27], что “разница между нашим моральным отношением к людям и к животным заключается ни в малейшей степени: это разница рода”. “Человеческая раса, считал он, - это определенное общество, отличное от всего остального. “Человек, который ломает кошке хребет, ломает кошке хребет. Человек, который ломает человеку спину, нарушает подразумеваемый договор”. Нам показалось, что в этом кратком высказывании мистера Честертонa непреднамеренно содержится корень всей жестокости по отношению к животным, квинтэссенция антропоцентрического высокомерия. Человек, который ломает кошке спину, ломает кошке спину. Да, и ученый, который подвергает вивисекции собаку, подвергает

вивисекции собаку; спортсмен, который разрывает зайца, разрывает зайца. Вот и все. Жертвы - не люди. Но это различие в руках дикарей привело к незапамятному жестокому обращению с низшими животными по всему миру.

Пожалуй, самым странным из обвинений мистера Честертона в адрес гуманитариев было то, которое он выдвинул в своей книге *“Ортодоксия”*, что они склонны "касаться все меньшего и меньшего количества вещей", то есть воздерживаться от одного действия за другим, пока не останутся в чисто негативном положении. Он не смог увидеть, что, хотя мы, безусловно, желаем прикоснуться к все меньшему количеству вещей хлыстом, сапогом с коваными гвоздями, охотничьим ножом, скальпелем или секирой, мы в равной степени желаем вступать в контакт со все большим количеством наших собратьев посредством того сочувствующего интеллекта, который говорит нам, что они очень похожи на нас самих. Почему, в конечном счете, мы возражаем против таких практик, как вивисекция, кровавый спорт и мясорубка? Без сомнения, из-за жестокости, неотделимой от них; но также и из-за ненавистного сужения наших собственных человеческих удовольствий, которое влекут за собой эти варварские обычаи. Признание прав животных не подразумевает какого-либо умаления прав человека: на это действительно было четко указано в подзаголовке моей книги *“Права животных”*, "рассматриваемые в связи с социальным прогрессом".

Зимой 1895-96 годов Гуманитарная лига организовала курс лекций о “Правах”, рассматриваемых с различных точек зрения — христианской, этической, секуляристской, научной, теософской и гуманитарной; и из них, возможно, наиболее значительным было выступление мистера Фредерика Харрисона *“Этический взгляд”*, в котором утверждалось, что "мораль человека по отношению к низшим животным является жизненно важной и действительно фундаментальной частью его морали по отношению к своим собратьям". На этом же собрании возникла некоторая дискуссия по далеко не маловажному вопросу о номенклатуре, были высказаны возражения против использования мистером Харрисоном термина “зверь”, который он, со своей стороны, защищал как научно корректный и, в смысле “невнятный”, совершенно не оскорбительный, даже когда применяется к таким высокоинтеллектуальным существам, как слон, лошадь или собака. Гуманитарии, однако, в целом придерживаются мнения, что значение слова “грубый” в данной связи не “невнятное”, а “иррациональное”, и что по этой причине от него следует отказаться на том основании, что называть животное грубым или иррациональным - это первый шаг на пути к соответствующему обращению с ним. “Дайте собаке дурную кличку”, - гласит пословица; и непосредственно следует предписание: “и повесьте ее”.

По аналогичным причинам Гуманитарная лига всегда с неодобрением относилась к выражению “бессловесные животные”, потому что, во-первых, животные не бессловесны, а во-вторых, ничто так не способствует их обесцениванию, как приписывание им нереального недостатка или несовершенства: такой термин может быть призван усилить нашу жалость, но в долгосрочной перспективе он уменьшает, что более важно, наше уважение. В этом вопросе Лига была рада заручиться поддержкой мистера Теодора Уоттса-Дантона, который еще в 1877 году сатирически написал в *“Атенеуме”* о том, что он назвал “великой человеческой ошибкой”, выраженной в словах “бессловесные животные”, и указал, что животные не более глупы, чем люди. Много лет спустя он написал мне, чтобы узнать об авторстве статьи в *Humanitarian*, в которой был сделан тот же вывод, и выразил свое полное сочувствие нашей точке зрения.

Но гораздо труднее, чем с любыми антигуманными аргументами, бороться с тупым мертвым грузом этого неразумного предрассудка, который не может видеть кровное родство иначе, как в общепринятых формах, и просто не понимает утверждения, что “животные” - это наши собратья. Есть множество хороших и незлобивых людей, с которыми в этом вопросе вообще никогда не доходишь до точки соприкосновения, а погружаешься в непроходимые заблуждения: с обеих сторон могут быть разговоры, но общения нет. Скажите им, по словам Говарда Мура, что нечеловеческие существа - “не удобства, а двоюродные братья”, и они согласятся, что все они поддерживают “доброту к животным”; после чего они будут продолжать относиться к ним не как к двоюродным братьям, а как к удобствам. Эта невозможность даже изъясняться внятно была с большой силой осознана мной несколько лет назад в связи со смертью моего очень дорогого друга, кошки, чья долгая пятнадцатилетняя жизнь оборвалась в ящике с хлороформом из-за неизлечимой болезни. Ветеринарный врач, к помощи которого я обратился, был чрезвычайно добрым человеком, за чье мастерство я всегда буду благодарен; и по его терпению и сочувственным манерам я подумал, что он отчасти понимает, что значил для меня этот случай — что, подобно смертному одру человека, это была сцена, которая никогда не могла изгладиться из памяти. Поэтому, когда он ушел, я с некоторым удивлением вспомнил то, на что в тот момент едва обратил внимание: он сказал мне, выходя за дверь: “Скоро тебе понадобится новая кошечка”.

Ричард Джеффрис заметил, что вера в то, что животные лишены разума, редко встречается у тех, кто сам работает в поле: “Кабинетные мыслители создают вселенную автоматов”. Время от времени радуешься, когда слышишь, как о животных говорят совершенно просто и естественно, как о разумных существах. Однажды в Озерном крае я познакомился с пожилой леди, живущей в придорожном коттедже, у которой в качестве компаньонки сидела в кресле у камина хромая курица по кличке Тетти, которую она спасла и вырастила из курятника. Несколько лет спустя, проезжая тем путем, я позвонил и справился о Тетти, но узнал, что она мертва. “Ах, бедняжка Тетти!” - сказала дама, и слезы потекли у нее из глаз. “Она скончалась несколько месяцев назад, до конца оставаясь в полном сознании”. То, что приписывание умирающей птице самосознания, которое считается особой прерогативой человечества, должно казаться подавляющему большинству людей не чем иным, как комичным, является показателем ширины той пропасти, которую религия проложила между “погибающими животными” и христианином с его “душой”, которую нужно спасти.

Но не часто приходится слышать о случае, подобном случаю с Тетти: как правило, разочарование таится в надеждах, которые льстят гуманитарному уму. У нас была соседка в Суррее, пожилая женщина, живущая в соседнем коттедже, которая заявляла о полной приверженности нашей доктрине о том, что кошкам нельзя позволять мучить пойманных птиц. “Я всегда забираю их у своей кошки: мне невыносимо видеть, как они страдают”, - сказала она. Мы горячо одобрили это замечательное чувство. Но затем, отвернувшись, она тихо добавила: “Если, конечно, это не воробьи”.

Год или два назад газеты описывали необычный несчастный случай на железнодорожной станции, когда корова попала на рельсы и оказалась зажатой между платформой и движущимся поездом: корова, как нам сказали, погибла, “но, к счастью, никто не пострадал” — взгляд на происшествие, который гуманитария показался еще более странным, чем сама авария.

Вот, опять, пример непреднамеренного юмора: “Возвращающийся домой” — название веселой картины, на которой изображен загорелый моряк, возвращающийся из тропиков с попугаем в клетке.

Именно эта традиционная привычка рассматривать низших животных не как личностей и собратьев, а как автоматы и “вещи” лежит в основе решительного отказа признать, что у них есть права, и, таким образом, в конечном итоге несет ответственность за большую часть бессердечия, с которым к ним относятся. С этим суеверием Лига вступила в конфликт с самого начала.

Но, возможно, некоторые из моих читателей все еще думают, что время, потраченное на защиту прав животных, так сильно отвлекает от великих человеческих интересов, которые поставлены на карту. Давайте сначала поможем людям, могут возразить они, а потом, когда человечество восстановится, мы сможем помочь животным. С другой стороны, есть некоторые зоофилисты, которые придерживаются противоположной точки зрения, что люди могут помочь себе сами и что в первую очередь в помощи и защите нуждаются животные. Мнение Лиги заключалось в том, что оба этих аргумента ошибочны, и по той же причине, а именно. что в нашем сложном современном обществе все важные вопросы справедливости или несправедливости пересекаются и перемешиваются, так что ни одна жестокость не может быть выделена в качестве источника всех других жестокостей, и ни одна реформа не может быть полностью реализована отдельно от остальных. Под “гуманистом” мы подразумевали того, кто чувствует и действует гуманно не только по отношению к человечеству или только к низшим животным, но и по отношению ко всей разумной жизни — того, кто принимает принцип Гуманитарной лиги, гласящий, что “несправедливо причинять страдания любому разумному существу, которых можно избежать”. Например, мы не считали гуманитариями тех “филантропических” людей, которые, сколотив состояние на коммерческой конкуренции, в которой снижение заработной платы было признанным методом, впоследствии отдали часть своего состояния на “благотворительность”. Это могло бы, возможно, быть филантропией, но не совсем гуманностью. Мы также не думали, что название “гуманитарий” следует давать тем зоофилам или любителям животных, которые держат бесполезных и изнеженных животных в качестве домашних любимцев и игрушек, тратя на них время и деньги, которые можно было бы лучше потратить в другом месте, и действительно впустую растрачивая жизни самих животных, поскольку у животных, как и у людей, своя собственная жизнь.

Возможно, наиболее действенным из всех подтверждений гуманных принципов является то, что содержится в книге мистера Говарда Мура *"Всеобщее родство"*, опубликованной Лигой в 1906 году. Именно благодаря заметке, которую я написал в *"Гуманитарной"* к его более ранней книге *"Философия лучшего мира"*, Лига впервые связалась с ним; и я со стыдом вспоминаю, что, когда этот “социологический синтез”, как гласил его подзаголовок, впервые попал мне в руки, я чуть не оставил его непрочитанным, подозревая, что это всего лишь последний из многих утомительных этических трактатов, которые являются бичом для рецензента, для которого само слово “социология” или “синтез” вызывает ужас. Но, к счастью, я прочитал книгу и быстро обнаружил ее достоинства; и с того времени до своей смерти в 1916 году Говард Мур был одним из самых верных и нежных наших друзей, сам склонный к унынию и, как показывают его книги, с оттенком пессимизма, но никогда не перестававший поддерживать других и все гуманитарные усилия. “Что бы мы, необычные, делали в этой одинокой мечте о жизни, - писал он в одном из своих писем, - если бы не сочувствие и дружба Немногих?”

Говард Мур умер от своей руки (у него были веские причины для такого поступка); и робкое отношение, которое столь многие люди проявляют к самоубийству, проявилось в молчании по этому поводу, которое сохранялось в большинстве английских зоофильских журналов, в которых упоминалась его смерть: один редактор сделал пронизательное заявление о том, что “он умер очень внезапно”, что заслуживает, я думаю, внимания как превосходный пример того, как правда может быть правдиво затемнена.

В книге “Всеобщее родство”, Говард Мур оставил гуманитариям сокровище, которое они сами будут виноваты, если не оценят так, как оно того заслуживает. Существует тенденция забывать, что именно современной эволюционной науке этика гуманности обязана своим самым сильным подтверждением. Физическая основа философии гуманизма покоится на биологическом факте, что родство универсально. Отталкиваясь от этой общепризнанной истины, Мур показал, с большим количеством аргументов и эпиграмм, что предполагаемая психическая пропасть между человеком и нечеловеческими существами существует не более, кроме человеческого воображения, чем физическая пропасть, которая теперь преодолена наукой. Он превосходно сформулировал цель нашего движения: “поставить науку и гуманизм на место традиций и дикости”. Именно с этой целью была создана наша Лига гуманности.

Х

ПЫТКИ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

Почему бы сразу не вернуть ботинок, кол и винт для большого пальца?— Профессор Лоусон Тейт.

Одним из главных достоинств этой страны является то, что пытки запрещены на ее территории: “Пытка, “ писал Маколей, - была применена в последний раз в мае месяце 1640 года”. Но как ни приятно думать, что именно прекрасной весной варварской практике пришел конец, это, к сожалению, один из случаев, когда наш народ позволяет ввести себя в заблуждение весьма прозрачными придирками; ибо нескольких минут размышления было бы достаточно, чтобы убедить самых самодовольных британцев в том, что, хотя некоторые специализированные формы судебных пыток были отменены, другие пытки, некоторые из них не менее болезненные и не менее отвратительные, применяются по сей день — почти через триста лет после славной даты отмены. Ибо если “пытка”, как говорят нам этимология, словари и обычное употребление, означает не что иное, как насильственное причинение невыносимой боли, то это не формальность, а абсурд - притворяться, что ей нет места среди институтов двадцатого века.

Порка - это пытка в самом буквальном смысле и в одной из самых грубых ее форм: “кошка”, как хорошо сказал мистер Г. К. Честертон, - это “дыба без каких-либо интеллектуальных причин”.^[28] Ужас старых военно-морских и военных наказаний плетью сохранился в памяти многих офицеров, которые были вынуждены быть их свидетелями: почему наказание стало менее жестоким по своей природе, потому что теперь оно применяется в менее суровой степени к мужчинам, осужденным за грабеж с применением насилия или какое-либо нарушение тюремной дисциплины? На одном из парламентских дебатов в ноябре 1912 года член парламента, приглашенный министром внутренних дел осмотреть “кошку”, высказал свое мнение, что “если это не пытка, то я не знаю, что такое пытка”.

В самом мрачном, но наиболее впечатляющем из своих рассказов, *“Остров доктора Моро”*, мистер Герберт Уэллс изобразил свой дикий “звериный народ” монотонно распеваящим некую “идиотскую формулу” о непогрешимости “Закона”. Ни с чем более подходящим, чем с этим, нельзя сравнить бессмертную легенду, которой уже более полувека, о том, что “удушение удавкой было прекращено плетью”. Не часто популярное заблуждение, каким бы ошибочным оно ни было, может быть фактически опровергнуто; но в данном случае в конкретном случае такое опровержение было возможно благодаря подтвержденному факту, что “эпидемия удушения” 1862 года была подавлена обычным законом *до того, как* порка за это преступление была легализована. В течение многих лет Гуманитарная лига публично оспаривала эту тему и обнародовала факты в тысячах писем в прессе; вызов спокойно игнорировался, и ложное заявление повторялось, пока не стало ясно, что, как заметил Де Квинси, “реже феникса встречается тот добродетельный человек, который согласится потерять процветающую историю на том основании, что она окажется ложью”. Однако был найден один такой добродетельный человек, и только один, а именно мистер Монтегю Крэкаторп, который фактически отказался от заявления, которое не смог подтвердить.^[29] Ввиду его уникальной искренности после его смерти было предложено установить статую в его память.

Сильно отличались от курса, выбранного мистером Крэкаторпом, действия сэра Александра Вуда Рентона из Верховного суда Цейлона, который в статье о “Телесных наказаниях” ввел в *Британскую энциклопедию* 1910 года ту самую легенду о удушении, от которой она ранее не распространялась, и допустил еще одну ошибку, указав дату принятия Закона о порке 1863 года как 1861 год, тем самым придав своей ошибке обманчивую видимость правдоподобия. Когда его призвали к ответу, он удовлетворился мастерским молчанием — более красноречивым, чем слова, — и позволил своему ложному заявлению, непризнанному и не исправленному, продолжать поддерживать распространенное суеверие. Можно ли удивляться, что подобные заблуждения сохраняются, когда Верховный судья, таким образом, предпочитает залечь на дно, чем признать свою вину?

Забавный и слишком малоизвестный факт заключается в том, что текст, который долгое время придавал святость применению телесных наказаний, взят не из *Притчей Соломоновых*, как предполагалось, а из отрывка, причем довольно неприличного, в *“Худибрах”* Батлера (1663):^[30] это, однако, так и должно быть, ибо вполне уместно, чтобы непристойная практика претендовала на авторитет из непристойного источника. Ободренные таким образом и помня об этом божественном наставлении, родители и школьные учителя, магистраты, судьи и все губернаторы и правительницы почувствовали, что, взяв в руки розгу, они выполняли религиозный долг, а не, как можно было бы заподозрить в противном случае, потакали каким-то своим очень примитивным инстинктам. Ибо “Мудрость Соломона” цитировалась нами в качестве руководства для исправления как старых, так и молодых; действительно, как мудро заметил один автор из *“Людей”*, “чем старше злодей, тем больше он нуждается в розге”. Исходя из этого принципа, престарелых бродяг в различных случаях приговаривали к наказанию розгами; но благословения березы больше принадлежат молодым.

Наши британские мальчики, от берега к берегу,
могут обрести два бесценных дара:
Флаг, которым когда-либо развевались раньше,
Березу, которая развевается позади.

В своей кампании против порки в Королевском военно-морском флоте Гуманитарная лига добилась не только значительного успеха, но и такого количества развлечений, которое само по себе с лихвой окупало бы труд, затраченный на эту работу. Начнем с того, что существовала техническая оговорка, очень характерная для чиновничества, что, хотя спины мальчиков, или, скорее, молодых мужчин, можно было разрезать на ленточки розгой, на флоте не существовало “порки”, поскольку “порка” означала нанесение ударов не розгой, а “кошкой”. Поскольку мистер Свифт Макнил возглавлял атаку в Палате общин, можно представить, что подобные увиливания — а подобных примеров было много — имели плохие последствия; и неудивительно, что “эти унижительные методы”, как выразился сэр Генри Кэмпбелл. По описанию Баннермана, им был положен конец в 1906 году, хотя использование трости, к дискредитации Адмиралтейства, все еще разрешено и защищается.

В этой долгой полемике Лига вступила в конфликт со всевозможными противниками, среди которых было несколько адмиралов, из которых самыми “беззаботными” были distinguished В. А. Монтегю и сэр Уильям Кеннеди. С последним нам было особенно очень весело, так как мы нашли в нем антагониста с предельной сердечностью и хорошим чувством юмора. “Какой смысл, - писал он мне, - присылать мне весь этот хлам, кроме как для заполнения корзины для бумаг? Мне наплевать на мнение адмирала ...”. В другой раз он прислал мне официальный вызов на встречу с ним “в любое время и в любом месте, когда будут предоставлены пистолеты и кофе”. Позже мы заручились его поддержкой, столь же решительной, в нашем протесте против практики кормления змей живой добычей в “Зоопарке”.

Другие друзья тоже помогли придать веселья довольно унылой теме. Среди тех, кто активно сотрудничал с Лигой, был коммивояжер, который был глубоко сведущ в различных законах, касающихся телесных наказаний, и который, как он однажды признался мне, имел привычку работать на месте в качестве своего рода внештатного сотрудника и башибузука. Например, он взял за правило писать “Как насчет Березки?” на печатных объявлениях Адмиралтейства, в которых мальчикам предлагалось воспользоваться преимуществами службы на флоте; и это задело настолько болезненную тему, что соответствующие объявления в конце концов поместили в стеклянные рамки. Еще одна из его маленьких шуток заключалась в том, что он писал учителям частных школ, сообщая, что у него есть сын, которого он собирается отправить в школу (что было правдой), и спрашивал, могут ли они гарантировать, что телесных наказаний не будет. Несколько учителей отреагировали благосклонно, но поскольку мальчика нельзя было отправить более чем в одно учебное заведение, эти достойные люди были лишены своей услуги за услугу; в конце концов, однако, на их предателя обрушился немезида, на этот раз, когда он только что вернулся домой после долгого путешествия, уставший и больше всего на свете желавший чаю, который, как следовало объявить, был одним из тех самых педагогов, с которыми он общался. Он тоже проехал некоторое расстояние, чтобы не упустить шанс стать учеником, и, имея “идеи” на тему телесных наказаний, пришел, как он сказал, “хорошо поговорить”. “Я мог бы его съесть”, - таково было замечание нашего друга.

В девяностых годах прошлого века состояние уголовного права, как отметил судья Мэтью, на сто лет отстало от времени, и был создан специальный отдел Гуманитарной лиги для того, чтобы отстаивать некоторые столь необходимые реформы. Было высказано мнение, что ввиду суровости уголовного законодательства, неравенства приговоров и жесткого и неизбирательного характера тюремной дисциплины следует предпринять организованную попытку гуманизировать как дух закона, так и условия тюремной жизни и показать, что

истинной целью тюремного заключения является исправление, а не простое наказание правонарушителя. В ходе этой кампании Лига смогла воспользоваться массой экспертной информации. В 1893 году она опубликовала очень эффектную брошюру “Я был в тюрьме”, написанную мистером Робертом Джонсоном, директором Колониального колледжа в Холлсли-Бей; а год спустя за ней последовала “Просьба о милосердии к преступникам”, обращение, произнесенное перед Лигой мистером Ч. Х. Хопвудом, ливерпульским регистратором, который вместе со своим другом мистером Джонсоном оказал большую услугу, показав бесполезность длительных сроков тюремного заключения. Примерно в то время у меня было несколько бесед с мистером Джонсоном и мистером Хопвудом; и они бы полностью связали свою судьбу с Гуманитарной лигой, если бы не опасались, что включение в ее программу многих других вопросов, таких как спорт и вивисекция, отвлечет симпатии в некоторых кругах от их особой темы тюремной реформы: именно по этой причине мистер Хопвуд впоследствии основал Общество Ромилли.

В той же сфере деятельности заметно выделялись два других имени — доктора У. Дугласа Моррисона, известного криминолога, ныне ректора Мэрилебонского университета, под руководством которого Лига приняла заметное участие в волнениях, приведших к принятию Закона о тюрьмах 1898 года, и Лекса, одного из самых острых умов своего времени, чье перо было безоговорочно предоставлено в распоряжение Лиги. Мистер У. Х. С. Монк - ибо именно он принял этот *псевдоним*— был главным регистратором банкротств в США. Отделение Королевской скамьи в Дублине, должность, которую он занимал с отличием, в то время как его необычайно активный и разносторонний ум проявлял интерес ко многим другим занятиям: он был математиком, астрономом, автором статей по логике, политической экономии и моральной философии, а также известным шахматистом, среди занятий которым он никогда не упускал времени, чтобы помочь гуманитарному делу. Его официальное положение делало желательным, чтобы его имя не появлялось; но многие письма для прессы были написаны им, а также множество резолюций, мемориалов и писем в правительственные ведомства, которые он подготовил от имени Лиги. “Попросить ‘Лех’ подготовить его проект” часто было курсом, принятым Комитетом при решении какого-либо технического вопроса, требующего исключительной осторожности. Двумя вопросами, которыми мистер Монк был особенно озабочен, помимо вопроса о порке, были учреждение Апелляционного суда по уголовным делам и пересмотр закона, касающегося тюремного заключения за долги; и во многом именно его непризнанный труд привел к одной реформе и подготовил почву для другой. В своих письмах для прессы о телесных наказаниях он иногда прибегал к иронической манере; то есть он писал как человек, который отчасти верит в ценность порки, но при этом таким образом, чтобы скорее указывать на недостатки и неудачи этой практики и тем самым ослаблять любую веру в нее, которая могла бы сохраниться в умах его читателей.

Среди других друзей, которым это отделение Лиги было многим обязано, были мистер Джордж Айвз, автор книги *"История методов уголовного преследования"*; миссис Х. Брэдли Боннер; мистер Карл Хит; мистер Х. Б. Монтгомери; миссис Л. Т. Маллет; доктор Т. Бати, выдающийся авторитет в области международного права; и мистер Джозеф Коллинсон, который в течение нескольких лет исполнял обязанности ее почетного секретаря. Мистер Коллинсон был молодым уроженцем севера, самоучкой, полным врожденной готовности и изобретательности, у которого в раннем возрасте развилась страсть к гуманитарной журналистике, и чьи письма в прессе стали такими же известными, как письма мистера Алджернона Эштона, хотя у него было заметное преимущество перед этим джентльменом в том, что у него была этическая цель и о

чем-то определенном писать. Любой, кто заглянет в подшивки ведущих лондонских и провинциальных журналов за период с 1895 по 1910 год, не сможет не заметить ряд писем, подписанных “Джозеф Коллинсон”, или не восхититься настойчивостью, с которой гуманистический взгляд на множество противоречивых тем, в частности тех, которые касаются уголовного права и тюрем, доводился до сведения общественности. Особенно в том, что касается вопроса о порке, услуги мистера Коллинсона были очень ценны.

При такой поддержке у Гуманитарной лиги не было причин опасаться какой-либо аргументированной оппозиции: наша трудность, скорее, заключалась в том, чтобы встретиться с любой; ибо нашими антагонистами были в основном анонимные и часто оскорбительные корреспонденты газет, и реальным препятствием, с которым нам приходилось справляться, были грубый груз предрассудков и огромная стабильность старых институтов. Однако нельзя не упомянуть двух наших противников. Одним из них был мистер Уильям Таллак, тогдашний секретарь Ассоциации Говардов, чья враждебность была опасна, поскольку скрывалась под маской филантропии. Это был пожилой джентльмен с доброжелательными манерами, чей метод заключался в том, чтобы проницательно сидеть “на заборе”, произнося пророческие изречения, то с той, то с этой стороны, чтобы, подобно составителю астрологического альманаха, он мог в любом случае вбежать и крикнуть: “Я же вам говорил”. В его *"Принципах пенологии"*, работе, широко разрекламированной в те дни, было много пенологии, но очень мало принципа, гораздо больше от Таллака, чем от Говарда: это было, по сути, факт, сборище банальностей и благочестия, которое говорит о многих вещах, в конечном счете вообще ничего не значащих. И все же, несмотря на его многословие и множество достойных уважения высказываний, мистер Таллак был реакционером; он принадлежал к устаревшей школе мысли, совершенно не симпатизировавшей новому стилю тюремной реформы; и поскольку он не упускал возможности принизить работу Лиги, мы несколько подчеркнуто показали ему, что это игра, в которую могут играть две стороны. Это ему не понравилось, особенно после того, как нас решительно поддержал мистер Пассмор Эдвардс в своей статье *"Echo"*. Соответственно, г-н Таллак предложил провести конференцию, на которой было решено, что в будущем обе стороны должны по-дружески договориться о том, чтобы “руки прочь”. Я помню, как на той встрече он сказал мне в своей отеческой манере, в качестве примера преимуществ отказа от пропаганды “крайних” мер реформы, что он пользуется привилегией иметь возможность время от времени лично беседовать с министром внутренних дел. “Что бы подумали об этом гуманитарии?” Пожилой джентльмен, очевидно, не знал, что если он и был *персоной граа* в Министерстве внутренних дел, то именно потому, что был известен как “ручной” реформатор, паразит старой системы, а не поборник новой, и поэтому был полезен тем, кто хотел оставить все по-прежнему.

В тюремной пьесе “Каникулы министра внутренних дел”, которую разыгрывали перед Гуманитарной лигой на одном из ее общественных мероприятий, мистер Таллак предстал в образе мистера Прима, приезжего судьи, который рассуждает о ценности “сегрегации”, “самоанализа”, “самопроверки” и “раскаяния” как посланных небом средств, с помощью которых осужденный грешник может пробудить чувство своей вины.

Другим нашим критиком, о котором я должен сказать несколько слов, был сэр Роберт Андерсон, бывший в то время помощником комиссара полиции; будучи по натуре холериком и сверхдержавой, он был охвачен гневным негодованием по поводу деятельности Гуманитарной лиги. В его книге *опреступниках и криминалем* стилистические тирады в адрес профессиональных

преступников сопровождалась едва ли не менее жестокими оскорблениями в адрес "профессиональных гуманитариев" — странный термин, применяемый к почетным работникам непопулярного дела, да еще человеком, который сам много лет был наемным работником Скотленд-Ярда! В одной и той же работе мы фигурировали по-разному как "человеколюбцы", "агитаторы", "дураки", "истеричные чудаки", "филантропы-доктринеры", "фальшивые философы", "сентиментальные плаксы" и так далее. Авторы иногда описывают свои книги как "труд любви". Работа сэра Роберта, безусловно, была трудом ненависти, и среди наказаний, которые он назвал подходящими для нераскаявшегося вора, были виселица, распятие, шурупы для большого пальца и дыба; он добавил, что их применение предотвращалось из соображений общества, а не вора. Неприятно говорить о таком человеке; о нем лучше забыть. Но при оценке дикости того времени нельзя не учитывать тот факт, что его самые мстительные предложения встречали значительную общественную поддержку.

Всестороннее осуждение порки, без сомнения, является очень непопулярной политикой; Гуманитарная лига потеряла многих членов и значительную финансовую поддержку из-за своей непоколебимости в этом вопросе, особенно, как ни странно, среди зоофилов и антививисекционистов, многие из которых твердо верили в правомерность вивисекции спин преступников и, как я слышал, прошли бы любое расстояние, "чтобы увидеть, как пороют вивисектора". Не менее ценной частью обязанностей Лиги было пресекать глупые разговоры подобного рода; и в этом мы имели удовлетворение от того, что нас горячо поддержал такой выдающийся противник вивисекции, как профессор Лоусон Тейт. Это произошло довольно странным образом.

Лига провела собрание в Бирмингеме; и местный член, у которого были соответствующие приготовления, назначил мистера Тейта председателем, но по какой-то оплошности недостаточно заблаговременно проинформировал его о наших целях. Когда он вошел в комнату — внушительного вида фигура, с медленной походкой, массивным телосложением и густыми бровями, — было видно, что он вне себя от ярости. Буря разразилась сразу. Вместо обычных комплиментарных замечаний председателя он сказал нам гневным тоном, что ничего не знает о Гуманитарной лиге и что было бы крайне неуместно, если бы его оставили в таком неосведомленном состоянии. Это было правдой, и мы желали, чтобы земля поглотила нас; но ничего не оставалось, как продолжать заниматься делами собрания, и пока произносились речи, мистер Тейт сидел и изучал напечатанный манифест Лиги. По мере того как он читал это, уныние постепенно покидало его; он начал бормотать слова одобрения пункту за пунктом, затем удовлетворенно хихикать и вскоре повернулся ко мне (я случайно сидел рядом с ним) и сказал, что полностью согласен с нашей программой. Теперь его прежнее негодование сменилось большим чувством юмора, и вскоре он произнес довольно длинную речь и сам выдвинул резолюцию о том, что цели Лиги "достойны поддержки всех добропорядочных граждан". Он заявил, что относится к вопросу о тюремных наказаниях почти так же решительно, как к вопросу о вивисекции, и строго осудил шумиху о применении плети, поднятую некоторыми женщинами-суфражистками Эдинбурга. Именно тогда он использовал слова, предваряющие эту главу: "Почему бы сразу не вернуть ботинок, кол и винт для большого пальца?"

В том, что есть множество людей, которые были бы вполне готовы вернуть средневековые формы пыток, если бы это было возможно, ни на минуту не может усомниться ни один человек, который, подобно мне, более двадцати пяти лет работал над прекращением порки. Конечно, есть много разумных сторонников телесных наказаний в той или иной их форме; но гораздо

больше тех, для кого призывы к порке, и к еще большим поркам, стали настоящим повальным увлечением, как это было видно, когда в 1912 году во время агитации за порку “белых работорговцев” со стороны значительной части людей раздался неистовый вопль страсти. “Мы знаем,” сказал в то время один из членов парламента, “какие необычайные истерические эмоции вызвал этот законопроект по всей Англии. Мы получаем письма от самых разных людей, в основном от женщин: ‘выпорите их’, ‘распните их’ и все остальное, что вам заблагорассудится. Это крик, который мы слышали на протяжении веков”.[31] То, что такой крик раздавался на протяжении веков, достаточно вероятно; но эпоха, которая его терпит, вряд ли может претендовать на звание цивилизованной.

В *“Повальное увлечение поркой”, изложении аргументов против телесных наказаний*,[32] книга, опубликованная для Гуманитарной лиги в 1916 году, с предисловием моего друга сэра Джорджа Гринвуда, я воспользовался большим количеством материалов, собранных Лигой за время ее длительной кампании против порки, в надежде, что такая работа — первая в своем роде, если считать брошюры исключенный — может оказаться полезным для многих социальных реформаторов, которые, хотя и инстинктивно выступают против применения плети, часто замолкают из-за уверенных утверждений о ее эффективности и не подозревают, что в этом, как и в подобных дискуссиях, человечность и разум идут рука об руку.

Позвольте мне теперь перейти к другой, еще более ужасной форме пыток. Возможно, уместно, чтобы две тирании-близнецы Порка и Вивисекция были связаны воедино так, как их видел Лоусон Тейт, поскольку они действительно являются родственными выражениями одного варварского духа. Я использую, ради краткости и удобства, общепринятый термин “вивисекция”, хотя есть веское возражение, выдвигаемое против него некоторыми авторами-гуманистами, что латинское слово несколько скрывает мерзость практики, и хотя фраза, предложенная м-ром Говардом Уильямсом, “экспериментальная пытка”, более точно соответствует безымянному предмету, для которого необходимо найти название. Во всяком случае, здесь, в двадцатом веке нашего варварства, пытка в ее самой неприкрытой форме — дыба, на самом деле не “без каких-либо интеллектуальных причин”, как было сказано о плети, но пытка столь же несомненная, сколь пыткой были ботинки и скручивание большого пальца. Что касается интеллектуальных причин, приводимых в оправдание этой практики, в *“Правах животных”* указывалось, что, прежде чем признать вивисекцию оправданной в силу ее полезности, мудрый человек примет во внимание другую, моральную сторону вопроса, “отвратительную несправедливость пыток разумного животного и причиняемый таким образом вред гуманному чувству общества”. Это утверждение было процитировано и подтверждено в неожиданной форме, а именно. в книге, опубликованной в 1901 году русским врачом В. Вересаевым,[33] который, хотя сам и оправдывал вивисекцию, не скрывал своих опасений относительно этического аспекта практики. “Вопрос, - сказал он, имея в виду отрывок из книги *“Права животных”*, - поставлен ясно, и здесь не может быть места для каких-либо двусмысленностей. Я повторяю, что мы не должны высмеивать претензии антививисекционистов — страдания животных поистине ужасны, и сочувствие к ним - это не сентиментальность”. Ввиду этого признания я не буду тратить слов на обсуждение утверждения, что анестезия избавила вивисекционированных животных от их “поистине ужасных” страданий. Это не так даже в нашей стране, где юридические ограничения являются фарсом; и если бы это было так здесь, остальной мир был бы открыт для экспериментов без лицензии и без ограничений.

Особое применение слова “вивисекция” к физиологическим экспериментам привело к тому, что во многих умах сложилось убеждение, что ученый-вивисектор является единственным мучителем животных. Это несправедливо как по отношению к лаборатории, так и по отношению к ее жертвам. Крестовый поход против вивисекции был бы намного сильнее, если бы те, кто принимает в нем участие, помнили, что жестокость науки - это лишь часть огромной суммы жестокости, которая в различных формах позорит отношения человечества к низшим животным. Допустим, что худшие зверства вивисектора превосходят зверства спортсмена или мясника как по продолжительности, так и по интенсивности, тем не менее, как часто указывали ученые, фактом является то, что существуют и другие пытки, отличные от лабораторных, и что к некоторым из них с такой же точностью можно применить название “вивисекция”. Например, неуклюжая кастрация домашних животных, как начинает признавать закон, является не чем иным, как “вивисекцией на ферме”; “купирование” лошадиных хвостов является вивисекцией в очень отвратительной форме; при промысле тюленей с несчастных жертв “моды” часто заживо сдирали кожу; также нельзя утверждать, что пытка белых цапель, которых бросают умирать, когда сорваны их брачные перья, требует более мягкого названия, чем вивисекция; тем не менее некоторые зоофилы, которые выглядят если физиолог-вивисектор считает вас исчадием ада, не стесняйтесь носить эгретку или плащ из тюленьей шкуры, а также быть владельцами купированных лошадей или стриженных собак. Невозможно провести строгую границу между теми варварствами, которые приравниваются к пыткам, и теми, которые до них не дотягивают, и удобно, что жестокости спорта и моды следует рассматривать в отдельной главе; тем не менее, есть еще одна практика, о которой необходимо сказать несколько слов, прежде чем закрыть эту главу.

При устаревших методах транспортировки и разделки скота, все еще разрешенных в Англии, невозможно сомневаться в том, что при торговле скотом часто практикуется нечто близкое к пытке; по этой причине, осознавая, что в вегетарианстве заключается единственное полное решение диетического вопроса, гуманисты давно настаивают на улучшении худших черт перевозки скота и беспорядков и, как минимум, на создании общественных скотобойен вместо частных скотобойен. Даже в этом отношении, из-за бездеятельности Совета графства, Лондон был оставлен на милость “торговли”, хотя в некоторых других округах наметились отрядные улучшения. Гуманитарная лига, пользуясь тем преимуществом, что консультировалась с такими экспертами, как сэр Бенджамин Ричардсон, мистер Х. Ф. Лестер (чью книгу *“За кулисами скотобойен”* мы опубликовали в 1892 году), мистер Чарльз У. Форвард, мистер К. Кэш и мистер Р. С. Эйлинг, не упустила возможности заявить о необходимости этой долго откладываемой реформы; но тема была настолько отталкивающей, что всегда было трудно заручиться симпатиями общественности, то есть тех самых людей, совесть которых следовало затронуть; или, если какой-либо интерес был пробужденный, он может быть среди тех, кто традиционно или профессионально выступал против желаемых изменений.

Однажды эта опасность была любопытно проиллюстрирована на собрании, проведенном Лигой в помещениях Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, когда мистер Джон Колам, секретарь этого Общества, занял место председателя, а мистер К. У. Форвард выступил с речью о еврейском методе забоя скота. Присутствовала лишь горстка наших друзей, но зал был забит из конца в конец посетителями-евреями, которые увидели объявление о собрании в газетах и встали на защиту своего ритуала. Мы намеревались внести резолюцию, решительно осуждающую еврейскую систему, но после поспешной консультации с мистером Коламом решили, что академическая дискуссия лучше

соответствовала бы обстоятельствам; и, к счастью, нашим еврейским друзьям не пришлось в голову предложить и принять резолюцию противоположного рода: они говорили долго и многословно, и мы были рады, что они не сделали ничего хуже. Встреча, однако, не прошла безрезультатно, поскольку пару месяцев спустя Еврейский совет Шхеты принял делегацию Гуманитарной лиги, на которой присутствовал Главный раввин доктор Адлер, который дал нам очень вежливый ответ. Еврейская система “заброса”, по его словам, которая особенно подвергалась критике как варварская, была во многом неправильно понята из-за слова, которым она была описана: на самом деле животных не “забрасывали”, а “осторожно спускали на веревках”. Мистер Форвард, однако, который часто был свидетелем процесса, остался неубедительным по этому поводу: ему казалось, что это публику мягко подводили словами.

Лига с удовлетворением увидела, что еврейская система была решительно осуждена в официальном отчете (1904 г.) Комитета, назначенного для рассмотрения вопроса о гуманном забое животных; но пока ничего не было сделано для претворения рекомендаций этого Комитета в жизнь, предполагаемой святости “религиозного” обычая, как обычно, было позволено перевесить самые четкие требования гуманности.

Существует немало других современных и прочно укоренившихся обычаев, к которым с полным правом можно было бы применить название этой главы; но уже сказано достаточно, чтобы показать, что веселый месяц май в 1640 году от рождества Христова не был свидетелем, как предполагалось, последнего случая применения пыток в этой благодатной стране свободы.

XI

ХУННСКИЙ СПОРТ И МОДА

Наполовину невежественные, они легко вращают колесо,
Которое приводит в действие острые выступы для зашпиговывания и снятия кожуры.
Китс.

От темы пыток мы естественным образом переходим к теме спорта; действительно, их трудно разделить, поскольку они психологически и фактически схожи. Несомненно, в злорадстве по поводу жестоких наказаний есть элемент спорта, и некоторые страдания, которые причиняют спортсмены, такие как смертельная охота на пугливого оленя или зайца, трудно отличить от пыток. Но когда я говорю о “спорте” в этой связи, я, конечно, имею в виду *кровавый спорт*; не мужественные игры на игровом поле или реке, а стремление к личному отдыху за счет причинения боли другим. Термин “кровавый спорт” впервые был использован, насколько мне известно, мистером Джоном Макдональдом, который под псевдонимом “Мелиорист” был автором нескольких наводящих на размышления статей, появившихся в *Echo*; так или иначе, Гуманитарная лига позаимствовала у него это слово и, обнаружив, что оно “вошло в обиход”, взяла за правило использовать его при каждом возможном случае. Это правильное выражение для практик, которые оно обозначает.

Лига опубликовала в 1914 году сборник эссе об *убийствах ради спорта* с предисловием мистера Бернарда Шоу, в котором различные аспекты кровавых видов спорта впервые были

полностью изложены и рассмотрены с точки зрения этики и экономики: книга, по сути, представляла собой краткое изложение обвинений Лиги в определенных кровавых и варварских развлечениях, точно так же, как *Увлечение Поркой* было свидетельством ее протестов против дальнейшего использования плети. Здесь я упомяну лишь несколько наиболее характерных особенностей длительной кампании.

В течение десяти лет, с 1891 по 1901 год, Лига использовала Королевских борзых в качестве “колышка” — и это был очень полезный колышек, — на который вешали разоблачения жестокости охоты на оленей.^[34] За действиями борзых следили из сезона в сезон; публиковались подробные отчеты о “пробежках”, противоречащие противоречивым сообщениям, присланным в газеты покровителями Охоты, и был выявлен ряд ужасных случаев нанесения увечий. В парламенте задавались вопросы; листовки, статьи и письма в прессу печатались сотнями, а в различных клубах и учреждениях было прочитано множество лекций.

В этой работе мы пользовались сочувствием многих выдающихся общественных деятелей и поддержкой части прессы (в частности, *Star*, редактором которой в то время был мистер Эрнест Парк); но на нашем пути возникали всевозможные трудности со стороны должностных лиц, будь то суда, правительства или Охоты, которые в этом случае, как и во всем остальном, ничего так не хотели, как избавиться себя от лишних хлопот, позволив всему идти своим чередом. Бюрократ мало заботило, будут ли запряженные олени по-прежнему потрошиться на железных оградах и их будут беспокоить гончие. Например, когда в 1898 году мы хотели представить королеве Виктории *дело против* Королевской охоты, в ответ на книгу лорда Риблсдейла “*Гончие Королевы*”, ее личный секретарь сэр А. Бидж отказался довести публикации Лиги до ее сведения; министр внутренних дел также отказался это сделать, как и премьер-министр, каждый из них сердечно посоветовал нам обратиться в другое место. Потерпев неудачу, мы нашли способ *обратиться с петицией* к королеве с просьбой разрешить направить ей встречное дело, и таким образом Министерство внутренних дел было, наконец, вынуждено сделать то, что оно объявило “противоречащим практике”. Королева, как мы знали с 1891 года из частного письма, адресованного мистеру Стрэттону сэром Генри Понсонби, была “много лет назад решительно настроена против охоты на оленей”; и когда этот факт был опубликован после ее смерти, это решило судьбу Борзых.

Оглядываясь на двадцать с лишним лет назад, забавно видеть, как приверженцы Королевской охоты пытаются использовать визит германского императора в 1899 году, чтобы поддержать падающую репутацию своего вида спорта. Они были очень озабочены тем, чтобы “встреча” Борзых стала одним из развлечений, организованных для кайзера, и 24 ноября, в ожидании его присутствия, собралось необычайно большое общество; но Гуманитарная лига заранее занялась этим вопросом, письмо протеста, которое она направила принцу Уэльскому, возымело желаемый эффект, и у кайзера было назначено мероприятие в другом месте. Если бы он присутствовал, то, как оказалось, увидел бы оленя, проткнутого кольями и умерщвленного способом, который был далеко не редкостью, и узнал бы (если бы у него были какие-либо сомнения на этот счет), что “гунны” не ограничиваются полностью Германией.

Этим нечестивым “видом спорта”, хотя он больше и не является государственным учреждением, по-прежнему занимаются частные стаи в нескольких частях страны, и ничто, кроме нового законодательства, не может помешать его продолжению. “Фальшивый спортивный законопроект”, разработанный Гуманитарной лигой с целью запретить охоту на

запряженных в повозки оленей, выгул кроликов в мешках и отстрел птиц, выпущенных из капканов, в разное время вносили в Палату общин мистер А. К. Мортон, мистер Х. Ф. Латтрелл, сэр Уильям Байлз, сэр Джордж Гринвуд и другие члены, а в Палату лордов епископ Херефордский (доктор Персиваль); но его противникам всегда удавалось помешать ему стать законом. Однажды (1893) это было “обсуждено” сэром Фредериком Банбери, который известен в Палате как антививисекционист и друг животных. Не только люди должны время от времени молиться об избавлении от своих друзей.

Итонские бигли были еще одной из самых почитаемых “фишек” Лиги и служили столь же полезной иллюстрацией охоты на зайца, как королевские борзые - для охоты на оленей. Если бы гуманитарии говорили о жестокости охоты на зайцев в целом, на них обратили бы мало внимания; но конкретные примеры, взятые из ведущей государственной школы и процитированные со слов самих мальчиков, напечатанных в *“Хронике Итонского колледжа”* - отвратительный отчет о “окровавленных” гончих и о зайце, “растерзанном” или ползущем, “бездельнике”, “абсолютно окоченевшем”, “сделанном так, что она не могла стоять” — произвели большое впечатление, и памятные знаки были представлены директору или Руководящему органу с просьбой заменить их другими. о драг—ханте (виде спорта, который раньше был популярен в Итоне и приводил к очень хорошим пробежкам), получил большое количество очень влиятельных подписей, в том числе от посетителя Итона, покойного епископа Линкольнского, доктора Э. Л. Хикса. Но общественное мнение мало что значит в школе, где невежество - это блаженство; гораздо более важным соображением для руководящих органов и директоров школ является мнение старожилов Итона; действительно, сомнительно, смог бы директор Итона даже сохранить свою должность, если бы он издал указ о прекращении деятельности того, что доктор Уорр со всей подобающей торжественностью назвал “старым итонским учреждением”. Это было настолько очевидно, что мы были вдохновлены позаимствовать название знаменитого стихотворения Грея в увеличенном виде и написать “Оду чрезвычайно отдаленной перспективе гуманной реформы в Итонском колледже”.

Доктор Э. К. Селвин, директор Аппингема, написал мне, что если бы его назначили директором Итона, он упразднил бы “Биглз” “при первой же возможности”. К сожалению, он не был успешным кандидатом на этот пост, когда доктор Уорр отказался от него, иначе мы могли бы увидеть какой-нибудь редкий вид спорта в Итоне, более захватывающий, чем любая охота на зайца. Неприязнь к кровавым видам спорта как школьному развлечению ни в коем случае не ограничивается гуманитариями, как видно из следующего предложения, которое я цитирую из интересного неопубликованного письма об этике спорта, адресованного мистеру Стрэттону в 1905 году мистером Ф. К. Селусом, великим охотником на львов: “Прочитав вашу брошюру, я определенно думаю, что было бы лучше заменить охоту на зайца преследованием и убийством зайца. Видеть, как одно из этих животных беспокоит и растерзает свора собак, - отнюдь не поучительное зрелище для маленького мальчика”.

Любая охота, будь то на зайца, лисицу, оленя или выдру, имеет много ужасных черт: возможно, самой отвратительной является обычай “кровопускания”, то есть крещения кровью искалеченной жертвы любых детей или молодежи, которые впервые участвуют в этом виде спорта. Эта практика была описана, но, казалось бы, слишком скромно, как “охотничья традиция, уходящая корнями в средние века”; можно было бы предположить, что она восходит к еще более примитивным временам. И все же по сей день этому дикарскому ритуалу покровительствует наша знать и члены королевской семьи. “Принц Генрих был чистокровным”,

- таков был вывод газетного сообщения об “убийстве” сворой гончих 9 января 1920 года. По-видимому, выражение “принц крови” имеет двойное значение.

“Вы не можете исключить жестокость из спорта”, - говорит выдающийся спортсмен, граф Уорик, в своих *Воспоминаниях о шестидесяти годах*. Ни в какой форме кровавого спорта мы так ясно не видим, какой настоящей манией может стать эта любительская бойня, как в одном из увлечений лорда Уорвика, “охоте на крупную дичь”, трудной и дорогостоящей охоте на диких животных в отдаленных землях без какой-либо лучшей причины, чем увлечение убийством. Охота на тигров, несомненно, увлекательное занятие, и есть дикие звери, которых иногда приходится уничтожать; но как насчет того другого тигра, который таится в сердце каждого из нас? и как его собираются устранить, если дикая жажда убийства является признанной формой развлечения? Ибо, несмотря на все барьеры и разделения, которые предрассудки воздвигли между человеком и нечеловеком, мы можем считать несомненным, что в конечном счете, как мы относимся к нашим собратьям, “животным”, так и мы будем относиться к нашим собратьям-людям.

Всем известно, как владельцы таких “трофеев”, как головы и рога “крупной дичи”, любят украшать свои залы этими памятными предметами охоты. Однажды я был гостем в доме, который был не только украшен подобным образом, но и содержал человеческую голову, отправленную домой участником некой африканской экспедиции и “сохраненную” мастерством таксидермиста. Когда владелец головы —*второй* владелец — пригласил меня взглянуть на этот конкретный трофей, я с некоторыми опасениями согласился; но когда, поднявшись по лестнице между стенами, обклеенными частями туш слонов, носорогов, антилоп и т.д., я вышел на площадку, где под стеклянной витриной лежала голова приятного на вид молодого негра, я не почувствовал особого отвращения при виде этого. Это была просто часть — и, как казалось, не особенно ужасная или омерзительная часть — окружающего мертвого дома; и я понял, что само человечество может быть не более чем “крупной дичью” для наших солдат-спортсменов за границей. Абсолютное различие между человеком и нечеловеком - это фикция, которая не выдержит проверки ни пытливым мышлением при изучении, ни грубым опытом в дикой природе.

Какими бы незаконными ни были Охотничьи законы, мне часто казалось странным, что Кингсли, даже рассматривая их вполне справедливо, с точки зрения браконьера, бросил в сторону защитника дичи такое красноречивое обвинение:

На дичи, которую ты продаешь, кровь, оруженосец,
И на дичи, которую ты ешь, кровь.

ни в малейшей степени не осознавая всей истинности этого утверждения. Ибо там, буквально, кровь на “дичи”, которой распоряжается сквайр (или браконьер), а именно. кровь самой “дичи”; и то, что Кингсли должен был забыть об этом, является исключительным доказательством того, что низшие животные рассматриваются просто как товары и движимое имущество, а вовсе не как существа из плоти и крови — за исключением того, что они готовят и едят. Само употребление слова “игра” в этом смысле является наиболее значительным.

Поскольку уже упоминалось о падении Королевских Борзых, необходимо сказать несколько слов о человеке, который в основном привел к этому. Преподобный Дж. Стрэттон был управляющим больницы Лукаса в Уокингеме, благотворительного учреждения, основанного в 1663 году, где несколько пожилых рабочих живут на пенсии; и поскольку Уокингем находился в центре охотничьего округа, у него были хорошие возможности наблюдать за происходящим и получать точную информацию: более того, он не понаслышке знал о “спорте”, и его отвращение к нему основывалось на его собственном более раннем опыте, а также на остром чувстве честной игры. Из всех активных работников, с которыми я имел честь общаться, мистер Стрэттон был лучшим; я не знал ничего более мужественного, чем то, как он, поначалу почти в одиночку, и когда все охотничье братство выступило против него, постепенно “сверг” (если воспользоваться приятным спортивным термином) жестокий и глупый институт, который существовал от имени Государя и за счет общества.

По характеру, как и по внешности, мистер Стрэттон был римлянином; его суровая и непоколебимая прямота вызывала уважение даже у самых активных противников. Его прямота, когда на карту были поставлены вопросы реальной важности, была совершенно неустрашимой, причем до такой степени, что иногда вызывала ужас у более слабых братьев. Однажды сочувствующий мне епископ спросил, возможно ли “заставить мистера Стрэттона замолчать”. Над этой проблемой, должно быть, размышлял не один сановник Церкви, ибо если у мистера Стрэттона и была слабость, то к епископу. Я не имею в виду, что он относился к епископам с чрезмерным почтением, скорее наоборот, поскольку ему нравилось отчитывать епископа; и некоторые из его писем епископам, в которых говорилось об их разрешении вивисекции или кровавых игр, по своей природе вызывали легкое удивление в епископальных кругах. Но если епископы не всегда ценили мистера Стрэттона, то другие люди ценили. Птицы в его саду в Уокингеме так хорошо понимали его, что позволяли ему разговаривать с ними и гладить их, когда они сидели на своих гнездах. Может ли быть более убедительное доказательство доброты человека?

Другим активным сторонником реформы кровавых видов спорта был полковник У. Л. Б. Коулсон, хорошо известный нортумберлендский джентльмен и Джей Пи, который был одним из первых влиятельных людей, присоединившихся к Гуманитарной лиге. Он обладал прекрасной военной выправкой и голосом, который даже при шепоте обладал такой громкостью и резонансом, что его не могли не услышать в самом дальнем углу комнаты; короче говоря, в его внешности было так мало бледного оттенка мысли, что при первой встрече с ним мы стали жертвами странного заблуждения. Было условлено, что он будет председательствовать на публичном собрании в Лондоне, первом, которое мы провели, посвященном охоте на оленей; и когда члены нашего Комитета прибыли незадолго до начала обсуждения, мы были обеспокоены, обнаружив так рано на сцене очень крупного и крепко сложенного мужчину, которого, поскольку он не представился, мы приняли за мастера охотничьих собак или, по крайней мере, за противника устрашающего калибра, пришедшего запугать нас с самого начала. Мы вздохнули с облегчением, когда обнаружили, что он - наш пропавший председатель.

Полковник Коулсон пользовался большой популярностью у своей аудитории, потому что в нем была искренность, которая проникала прямо в сердце, а его речи, хотя и некультурные, были полны расовости и человечности. Сам воспитанный как спортсмен, он остро переживал страдания животных и после увольнения из армии посвящал много времени лекционным турам, в ходе которых посетил многие уголки страны и особенно обращался к школам. Итон не принял

его, несомненно, опасаясь какого-нибудь упоминания о ее охоте на зайцев; но в нескольких других крупных государственных школах его не раз просили выступить. Храбрый, простой и вежливый, он был любим всеми, кто его знал, и никто так сильно, как его коллеги по гуманитарному делу.

В истории Гуманитарной лиги не было ничего более примечательного, чем разнообразие характеров людей, которых привлекали ее принципы. Леди Флоренс Дикси, вступившая в Лигу при ее зарождении в 1891 году, сделала странную и полную приключений карьеру, и ее не случайно описали как “своего рода "Восхитительную Крайтон" среди женщин, поэтессу, романистку, исследовательницу, военную корреспондентку, великолепную наездницу, убедительного оратора, очень выносливую пловчиху и самую проникательную гуманистку, какая когда-либо жила”. Насколько я ее знал, она была такой же гуманной; и она, безусловно, была одной из самых преданных сторонниц Лиги, всегда готовой помочь ручкой или кошельком, быстрой, искренней и непоколебимой в своей дружбе. Ее стихи, из которых она прислала мне более одного тома, не имели большой ценности; но ее эссе “Ужасы спорта” было одним из самых ярких и трогательных обращений, которые были написаны на эту тему; ни одна из брошюр Лиги не имела такого широкого распространения, поскольку ее читали и цитировали во всех уголках англоязычного мира. Здесь она писала с полным знанием фактов и с сочувственной проникательностью, что в сочетании с быстрым и живописным стилем сделало ее в лучшем случае сильным и увлекательным писателем. О ее личной эксцентричности ходило много слухов; и я вспомнил, что, когда я жил в Итоне, ее часто видели в саду ее виллы на Виндзорском берегу Темзы, прогуливающейся, как современная Цирцея, в сопровождении множества диких зверей. Однажды ягуар вырвался из-под ее контроля, и в Виндзоре и Итоне поднялась легкая паника, пока его не поймали: это могло бы быть действительно серьезно, если бы смелые юноши, охотившиеся на охваченного ужасом зайца, пустили добычу, которая показывала бой.

Другим неизменным другом Спортивного комитета Лиги был почтенный. Фицрой Стюарт. Когда я впервые познакомился с ним, он был секретарем Центрального офиса консерваторов, и мы были несколько удивлены, найдя союзника в этом направлении; фактически, у нас были некоторые подозрения, совершенно несправедливые, как показал результат, что мистер Стюарт, возможно, пожелал узнать наш план кампании против Королевских борзых в интересах своих друзей-охотников. Когда я впервые посетил его в штаб-квартире консерваторов, меня представили сэру Говарду Винсенту, члену парламента, который, хотя и был покровителем Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, не постеснялся разделить свою судьбу с теми, кто боролся за продолжение охоты на кроликов, голубей и оленей. Он казался добродушным, рассеянным человеком, и одно из его замечаний, насколько я помню, заключалось в том, что Англия - “рай для животных”. Вряд ли это было мнение Фицроя Стюарта, который был неумолим в своих планах по запрещению более жестоких видов спорта. Он возлагал большие надежды на молодого мистера Уинстона Черчилля, который тогда начинал быть известным как восходящая звезда партии Тори, и по его серьезной просьбе мистеру Черчиллю было направлено письмо из офиса Лиги, в котором напоминалось о решительном осуждении лордом Рэндольфом Черчиллем охоты на оленей и содержалась просьба о его помощи в борьбе с борзыми. Мистер Черчилль, однако, не тронутый этим призывом к его сыновней почтительности, мудро высказался о том, что крестовый поход против Королевской охоты был слишком демократичным.

Мистер Фицрой Стюарт тесно сотрудничал с Гуманитарной лигой до своей смерти в 1914 году; и многие из его писем для прессы мы с ним совместно сочинили в офисе на Чансери-лейн. Он любил приходить туда, вооруженный несколькими листами своей почтовой бумаги “Карлтон Клуб”, на которых письма, составленные по его усмотрению, были должным образом скопированы и подписаны — “Старый харровианец” или “Член Карлтон Клуб”, была его любимая подпись, — а затем он отправлял их нескольким своим знакомым влиятельным редакторам, чье отвращение было бы неизмеримо, если бы они знали, в какую компанию попал их уважаемый автор. Справедливости ради я должен добавить, что мистер Стюарт, хотя и был решительным противником кровавых видов спорта, твердо верил в пользу порки; но он был готов нивелировать это единственное различие в своем общем одобрении работы Лиги. Он был настолько добродушен, что, когда тема телесных наказаний должна была всплыть на заседании Комитета, он обычно просил меня внести ее первой в повестку дня, чтобы он мог подождать снаружи, пока этот животрепещущий вопрос не будет решен: тогда он присоединялся к нам — приходил на десерт, как мы выражались, — и принимал участие в обсуждении. О, если бы все коллеги были такими же разумными! Как верно сказала о нем *The Times*, “его мягкий нрав и социальный такт сделали его самым компанейским из людей”.

Мистер Джон Колам, в течение многих лет секретарь Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, был хорошо известной фигурой в зоофильском движении того времени, о котором я говорю, и имел отличную репутацию проникательного человека. Он, безусловно, был хитер, с тем огромным опытом, который приобрел, уклоняясь от двойного давления тех, кто кричал “вперед”, и тех, кто кричал “назад”; и он был настоящим Протеем в том мастерстве, с которым он ускользал от любого, кто пытался направить его любым путем, кроме самого безопасного. В частном порядке он называл отсталость своего Комитета причиной этой кажущейся робости; так, в 1901 году, когда судьба Royal Buckhounds висела на волоске, он сказал мне, что R.S.P.C.A. не смогла предпринять никаких публичных действий, не из-за какой-либо небрежности с его стороны, а потому, что некоторые члены Комитета боялись оттолкнуть подписчиков, включая самого короля Эдуарда. Лично мне нравился мистер Колам; он был гуманным, насколько позволяли его интересы, и когда кто-то раз и навсегда осознал бесполезность попыток привязать его к какой-либо определенной цели, было поучительно время от времени беседовать с ним на Джермин-стрит и наблюдать за большой ловкостью, с которой он вел дела Общества; и он, со своей стороны, когда видел, что у кого-то больше нет никаких этических замыслов в отношении него, а обращаются к нему скорее как к сокурснику, хотя и простому любителю, в искусстве обращения с неразумными людьми, становился болтливым и конфиденциально и рассказывать забавные истории о приключениях Секретарши. Из него мог бы получиться успешный премьер-министр, поскольку его “волшебство” было высочайшего порядка; как гуманист он оставлял желать лучшего.

Со Спортивной лигой, которая заявляла, что не одобряет “злоупотребления” в спорте, но при этом выступала против Законопроекта, запрещающего бег за кроликами и родственные развлечения, мы, конечно, были вовлечены в полемику. Мы стремились довести это до конца, предложив провести общественное обсуждение вопроса: “Что такое злоупотребления в спорте?” Но этот вызов был отклонен, *Спортсмен* выразил мнение, что “к такой ничтожной глупости лучше всего относиться с презрением”, а *Evening News*, что “кудахтанье — сильная сторона чудаков”. Нам удалось привлечь к делу нескольких чемпионов аристократических кровавых видов спорта, среди них сэра Герберта Максвелла и сэра Эдварда Грея, которые один

или два раза выступали на нейтральных площадках и воспользовались возможностью восхвалить свои любимые развлечения, но не выказали особого удовольствия от дискуссии, которую они сами же и спровоцировали. Мистер Ф. Г. Афлало был еще одним из наших многочисленных противников в журналах и прессе; и у меня сохранились приятные воспоминания о дружеских встречах с ним в "*Fortnightly Review*" и в других местах. Было много других апологетов кровавых видов спорта, более сентиментальных и неразумных, и с ними мы тоже очень наслаждались спором, который был для нас таким же приятным развлечением, как для них охота или беговые дорожки.

Прежде чем перейти от спорта к моде, я кратко расскажу о тех популярных местах отдыха, которые эвфемистически называются "Зоологическими садами", которые в цивилизованный век наверняка были бы прокляты как одно из самых печальных и унылых мест на земле, поскольку на самом деле они ничуть не веселее больших каторжных участков, куда злополучных пожизненно заключенных - "барахло", как называют их зрители, — доставляют из многих далеких стран. Как любой разумный человек может находить удовольствие, наблюдая, например, "кормление львов" (современная версия *Christianos ad leones*) - загадка, которая ставит в тупик мышление. Я не был в лондонском "Зоопарке" много лет; но когда я узнал его, несоответствия этого места были настолько нелепыми, что почти затмевали ощущение его варварства: логово тигра, например, было украшено надписью: "Остерегайтесь карманников", а на Орлиной клетке красовалась надпись: "В комнаты отдыха"; и там, действительно, в пределах видимости пойманной птицы Юпитера, безутешно сидящей на своем насесте, был официант, разносивший кофе или лимонный сок. давит, невзирая на огромного Хищника, который унес его предшественника, Ганимеда, чтобы тот стал божьим виночерпием. Мог ли батос пойти дальше?

Один мой друг, который, будучи учеником Итона, на каникулах ходил в "Зоопарк" и развлекался, дразня пленников, довольно любопытным образом обратился к гуманитарным принципам. Лось или какое-то крупное животное из отряда жвачных, чей гнев он заслуженно навлек на себя, *кашлянул* на него с такой яростью, что он вышел из лосиного домика, покрытый чем-то вроде влажных отрубей, и с непоправимо испорченным цилиндром. Хотя в то время это скорее задело его за живое, чем за сердце, впоследствии он стал рассматривать этот инцидент как то, что называется "средством благодати". Это заставило его тоже "задуматься" и таким образом донести до него тот факт, что лось - это "человек".

Моя брошюра, выпущенная Гуманитарной лигой в 1895 году под названием "Зоофил в зоопарке", стала началом агитации, которая постепенно привела к значительному улучшению условий содержания животных, в обсуждении которой наиболее примечательной была серия статей, опубликованных в *Saturday Review* мистером Эдмундом Селусом, а затем перепечатанных Лигой. Другой темой, обсуждавшейся с большой живостью, была практика кормления питонов и других крупных змей живой добычей — уток, домашней птицы, кроликов и даже коз отдавали рептилиям на съедение способом, который было тошнотворно наблюдать и почти слишком отвратительно описывать.^[35] Эти выставки были открыты до 1881 года; затем на смену публичности пришла чрезвычайная секретность, и на все запросы отвечалось стереотипным заявлением, что использование живой добычи ограничено случаями, "когда такая пища была необходима".

Тот, кто кормит стройных змей, сам должен быть стройным.

Лига сочла, что кормушки для рептилий в Риджентс-парке чрезвычайно скользкие в обращении, и потребовалось много времени и терпения, чтобы привлечь их к ответственности. Однако в выполнении этой задачи меня ободрило воспоминание о сцене, свидетелем которой я однажды был в переполненном железнодорожном вагоне, когда большой угорь выбрался из корзины, которую держал один из моих попутчиков, и вызвал легкую панику среди компании своими извилинами под сиденьем. Пожилая дама резко упрекнула владельца угря, и я был поражен разумностью его ответа в довольно сложных обстоятельствах, когда угорь неоднократно выскальзывал у него из рук. “Подожди немного, мама, - сказал он, - пока он немного не запылится”; и результат доказал, что мужчина был прав. Точно так же мы ждали, пока оправдания Зоологического общества действительно не стали очень пыльными.

Некоторые из причин, предложенных в пользу старой системы кормления змей, сами по себе были поистине рептильными. “Мы следуем Божьим установлениям, и они должны быть правильными”, - благоговейно заметил сторож, а гуманитариям было сказано, что “объявлять использование живой пищи жестоким - значит выдвигать это обвинение против Самого Творца Природы”. Таким глубоким и пылким было благочестие Дома Рептилий! Тем не менее, мы продолжали настаивать на своей точке зрения, и этот вопрос горячо обсуждался не на одном из ежегодных собраний Зоологического общества, где в результате протестов, поднятых капитаном Альфредом Карпентером, Р.Н., мистером Стивеном Кольриджем, мистером Роулэндом Хантом и другими членами F.Z.S., стало очевидно, что большинство стипендиатов, которые рассматривали Общество как своего рода частный клуб, были возмущены привлечением общественного мнения к их проблемам. Это была ситуация, не лишенная юмора. Мне случайно стало известно, что в ходе возбужденного собрания, состоявшегося в ноябре 1907 года, когда герцог Бедфорд, как президент Зоологического общества, председательствовал, его светлости была отправлена следующая телеграмма:

Прошу вас твердо придерживаться живой пищи и соблюдать предписания Создателя.

От Анны Конда.

Эта бесхитростная молитва неизвестной дамы полностью соответствовала духу собрания. Тем не менее, события развивались даже в Риджентс-парке; и когда мы показали, что змеи в Нью-Йоркском зоологическом парке успешно питались свежееубитыми животными, мы с удовлетворением увидели, что тот же менее варварский метод был применен в лондонском “Зоопарке”.

Однажды мне посчастливилось услышать кое-что из внутренней истории большого зверинца от жены одного из зрителей, поденщицы в доме, где я остановился, которая отличалась несколько словоохотливым и общительным нравом, главным предметом ее разговоров были приключения ее мужа Джонни. “Джонни вчера вечером вернулся домой смертельно уставший, сэр”, - сказала она однажды. “Почему это было, миссис Смит?” Я спросил. “Ну, сэр, ему пришлось побить слона, и после этого он слишком окован и устал, чтобы ужинать. Мой естественный вопрос, смог ли слон съесть *свой* ужин, был отложен в сторону как несерьезный.

Зная кое-что о глубоком благочестии зрителей (лондонского) “Зоопарка” по отношению к кормлению змей, мне было больно узнать от этой доброй женщины, что ее муж, который, к сожалению, не работал в отделе по борьбе с рептилиями, “потерял веру”, и по причине, которая, я думаю, ранее не упоминалась среди многих современных причин неверия. “Вывидите, сэр, Джонни никогда больше не сможет поддерживать отношения с Церковью после того, как он видел, как священнослужители развлекались с девушками в слоновьем домике”.

Говоря о жестоких развлечениях, я упомянул значение термина “кровавый спорт” во многих спорах, которые мы вели. Точно так же, как на судьбу книги может повлиять ее название, так и в этических и политических дискуссиях часто встречается то, что можно назвать выигрышным словом; и там, где такого нет под рукой, желательно изобрести какое-нибудь другое. Таким образом, Лига удачно сыграла с “флагелломанией”, которую использовал мистер Бернард Шоу в одной из своих лекций; а “бруталитаризм” (я думаю, наше собственное изобретение) сослужил нам, йоменам, хорошую службу, как будет показано в следующей главе. “Смертоносные модистки”, еще один термин, получивший широкое распространение, впервые был использован в качестве заголовка моей книги *“Права животных”*; и хотя это несколько шокировало некоторых зоофилов старой школы, которые, вероятно, думали, что “убить” можно только человека, возможно, это послужило полезной цели - привлечь внимание к отвратительной жестокости, лежащей в основе торговли оперением. В своем осуждении этих варварств, как и в других вопросах, Гуманитарная лига была пионером; ее брошюра “Истребление птиц”, написанная мисс Эдит Каррингтон и опубликованная почти тридцать лет назад, сыграла заметную роль в формировании лучшего общественного мнения; а законопроект, разработанный Лигой в 1901 Году, о запрете использования оперения некоторых редких и красивых птиц, привлек очень широкое общественное внимание и стал основой последующих попыток принятия законодательства. Но здесь следует добавить, что человек, который сделал больше, чем все Общества вместе взятые, для обеспечения принятия Законопроекта о Оперении, - это мистер Джеймс Бакленд. Ничто в гуманитарном движении не было прекраснее того, как мистер Бакленд выдвинул этот вопрос на передний план и сделал его исключительно своим собственным.

Столь же жестокой, как торговля перьями, является торговля мехами, поскольку она несет ответственность за некоторые наиболее ужасные методы пыток — стальной капкан, который наносит жертве ужасающие увечья; пружинящий шест, который подбрасывает ловушку и пленника высоко в воздух, чтобы они висели там до следующего обхода охотника; ужасный “мертвый удар”, используемый для медведей и других крупных животных; отравление волков стрихнином; и мерзости при разделке тюленей. Даже модные люди, которые носят меха (в климате, где нет ни малейшей потребности в такой одежде), вряд ли смогли бы сохранить эту привычку, если бы знали, как обеспечивается их “комфорт”; как бы то ни было, Женщина с перьями на голове - не более обычное зрелище на наших улицах, чем Задница в шкуре (Морского) Льва. Похоже, что те, кто носит меха, почти не осознают, что их соболиные и тюленьи шкуры - это пережитки прежних владельцев, и, подобно героиням современных драм, у них определенно было “прошлое”; или, если они не совсем забывают этот факт, они считают вполне естественным, что *им* теперь пришла очередь обращаться со шкурой, как это было раньше с животным. Так, Поуп в хорошо известном двустишии:

Знайте, все дети Природы разделяют ее заботу;
Мех, согревающий монарха, согрел медведя.

Можно было бы подумать, что медведь, отрастивший шкуру, имеет на нее несколько больше прав, чем монарх! Политики могут говорить о “одном человеке, одном голосе”, но на самом деле, если когда-либо будет существовать цивилизованное государство, программа “один человек, одна кожа” кажется более справедливой и демократичной.

XII

ЗАБАВЫ ЧУДАКА

Ни одна борзая не любит загонять зайца так, как я, когда я валяю дурака.— *Кенилворт*.

Интересно, сколько раз за последние тридцать лет нам, гуманитариям, говорили, что мы “чудаки”, или “чудаковатые”, или “сентиментальные”, что наши сердца “лучше, чем наши головы”, и что у нас напрочь отсутствует чувство юмора. Я уверен, что если бы я сохранил все письма и вырезки из газет, в которых мы оказались описанными таким образом, их было бы не сотни, а тысячи; ибо, похоже, среди добродушных людей, чьи неприятные действия были нами разоблачены, было распространено мнение, что Комитет Гуманитарной лиги должен быть сборищем угрюмых пуритан, заседающих на безрадостном конклаве и торжественно оплакивающих порочность мира. Наши оппоненты даже не подозревали, насколько мы были обязаны им за то, что они внесли легкую и комичную сторону в полемику, которая в противном случае могла бы быть просто немного скучной.

Гиббон сказал, что привилегией средневековой церкви было “защищать бессмыслицу жестокостью”. В наши дни мы видим покровителей спорта, вивисекции, бойни и других освященных веками институтов, использующих противоположный процесс и защищающих жестокость бессмыслицей. Икакой вздор! Я не знаю, где еще можно найти такую гротескную нелепость, такую полную путаницу аргументов, как в придирчивой современной жестокости, которая приводит изощренные причины для увековечения диких обычаев.

О некоторых заблуждениях людоедского сознания я уже говорил: книгу можно было бы легко заполнить не менее интересными высказываниями, взятыми из родственных областей мысли. Апологетами Royal Buckhounds, например, были первоклассные комики, труппа артистов, которые давным-давно предвосхитили “Безумства”. Разве они сами не уверяли нас, что, охотясь на запряженного в повозку оленя, они “ехали, чтобы приберечь оленя для другого дня”? Для такой преданности нужен был другой ловелас:

Ты удивлялся, что с тех пор, как моя любовь была такой сильной,
я так яростно охотился за тобой?
Я не мог бы любить тебя, Олень, так сильно,
Я не любил Охоту больше.

Олень, как заметил один знатный лорд на собрании Спортивной лиги, был “самым избалованным животным”. “Когда на него собирались охотиться, его везли на встречу в удобной

повозке. Когда его посадили, первое, что он сделал, это подстриг траву. Когда собаки подошли слишком близко, их остановили. Мало-помалу он лег, и его отвезли обратно в его уютный дом. Такой жизнью хотели бы жить многие”. Таким образом, было показано, что это лишение как для людей, так и для нелюдей - не быть преследуемым стаей гончих по стране колючей проволоки и битых бутылок. Без этого жизнь казалась бедной и подлой.

Охота на лис тоже всегда была освежающе богата софизмами. Фермера заклиняют быть благодарным Охоте за то, что лиса убита, а лиса за то, что его вид (а не он сам) “сохранен”. 1 таким образом, спортсмен в любом случае ставит себе в заслугу — с одной стороны, за уничтожение вредителя; с другой, за спасение подобных вредителей от истребления. Это сцена из оперы Гильберта или “Баллады Баб”; это заставляет почувствовать, что этот британский кровавый спорт, должно быть, вреден не только для жертв погони, но и для умственных способностей джентльменов, которые им предаются.

Кульминация абсурда была достигнута, возможно, в посвящении архиепископом Йоркским (доктором Космо Лэнгом) витражного окна — *очень* витражного окна, как было замечено в то время, — в церкви Мур Монктон памяти преподобного Чарльза Слингсби, пожилого кровожадного спортсмена, сломавшего шею на охоте. То, что священник был “отправлен в вечность”, как говорится, во время погони за лисой, должно было вызвать чувство глубокой боли, если не стыда, у его единоверцев: случилось так, что архиепископ пожелал восхвалять в освященном месте поклонения не только старого джентльмена, чья жизнь была таким образом загублена, но и сам вид спорта - охоту на лис: доктор Лэнг фактически провозгласил то, что можно назвать Фоксологией. О витраже, на одной стороне которого изображены святой Губерт и олень, а на другой — святой Франциск — да, святой Франциск, - благословляющий птиц, можно думать только с улыбкой. Несколько месяцев спустя в Винчестерском соборе было установлено мемориальное окно Изаака Уолтона в честь “причудливого старого жестокого хлыща”, которого высмеивал Байрон. Изображен ли в этом произведении религиозного искусства благочестивый рыболов в момент насаживания живой лягушки на крючок, “как если бы он любил ее”, газеты не уточняли.

Можно привести множество примеров глубокого благочестия, временами даже религиозного восторга, испытываемого приверженцами кровавых видов спорта; возможно, наиболее впечатляющим является один из *отрывков из "Моего охотничьего дневника" кронпринца Германии*: “Говорить о религиозных чувствах - дело трудное. Я знаю только одно — я никогда не чувствовал себя так близко к моему Богу, как тогда, когда я, положив винтовку на колено, сидел в золотом одиночестве высоких гор или в трогательной тишине вечернего леса”. Такого рода чувства ни в коем случае не присущи исключительно немцам. Послушайте набожность крупного охотника, мистера Х. В. Сетон-Карра: “Почему Всемогущий Бог создал львов, чтобы они охотились на безобидных животных? И разве мы не должны, даже за счет осла в качестве приманки, иметь оправдание в сокращении их численности?” Вот, опять же, что преподобный Уолтер Крик сказал в защиту торговли мехами: “Если носить муфту из тюленьей шкуры неправильно, то одеяние из верблюжьей шерсти святого Иоанна Крестителя, не говоря уже об одежде, которую носили наши прародители в Эдемском саду, заслуживает такого же осуждения”.

Строго церковным был тон брошюры, пришедшей из штата Нью-Йорк и озаглавленной “Собачий вопрос, обсуждаемый в интересах человечества”, и заключавшейся в таких

выражениях: “А теперь, мой мальчик или девочка, кем бы ты ни был, брось эту чушь о собаках. Они требуют драгоценного времени, которое следует потратить на обучение таких, как вы. Собака не может любить вас. Вы не можете любить собаку. Ничто, кроме божественной души, не может любить или быть любимым. Усыпи свою собаку хлороформом и приступай к чтению своего Завещания”.

Однажды я подслушал, как священник, занявший свое место за чайным столиком в саду графства Суррей, резко призвал к порядку нескольких мальчиков из своей компании, которые яростно били по осам и давили их любым подручным инструментом. Я слушал, думая, что наконец-то услышу несколько мудрых слов об этой глупой и отвратительной практике, которой предаются многие легковозбудимые люди; но оказалось, что причиной недовольства преподобного джентльмена было всего лишь то, что он еще не “прочитал молитву”: после этого раздавливание ос возобновилось без перерыва.

Мне не хватило бы места, если бы я попытался процитировать хотя бы сотую часть удивительной Книги Заблуждений, написанной в защиту Жестокости. “Мне кажется, - сказал сэр Герберт Максвелл, - если бы можно было применить референдум к нашим стадам, ответ был бы таким, на который вегетарианцы вряд ли рассчитывают”. Кажется, раздался бы всеобщий рев протеста со стороны быков, овец и свиней при предложении разорвать их благодарную связь с погонщиком скота и забойщиком скота. Еще более восхитительным был мистер У. Т. Стэд, когда он получил из духовного мира послание о том, что вегетарианство полезно для некоторых людей, но не для *него*. Это сообщение, я думаю, отдавало не столько от *starry spheres*, сколько от *Обзора отзывов office*: если это и не был чистый дух, то это был чистый Стид.

“Мистики” часто доставляли нам большую радость; например, мистер Дж. У. Ллойд, автор оккультного труда под названием “*Мысль о рассвете*”, выразил себя следующим образом: “Когда я выхожу в поле со своим ружьем и убиваю своего младшего брата, Кролика, я поэтому не перестаю любить его, или отрицаю свое родство, или причиняю ему какое-либо реальное зло. Я просто отпустил его, чтобы он подошел ко мне на шаг ближе”. Здесь снова был братец Фокс, только смешнее. Мы предположили мистеру Ллойд, что “Мышление о мускулах” могло бы быть более подходящим названием для его книги.

Таким образом, подобно педагогам, мы, чудаки, тоже развлекались; нас подбадривали в утомительной пропагандистской работе такие интеллектуальные арлекинады, как те, из которых я привел несколько примеров почти наугад.

Пожалуй, самым смехотворным в этих жалких спавинированных Заблуждениях была полная уверенность, с которой они были выдвинуты. Они были очень старыми и очень глупыми; их снова и снова опровергали; и все же они всегда выдвигались таким образом, который, казалось, говорил: “Несомненно, *этого* аргумента вы никогда раньше не слышали? Вы, конечно, *теперь* откажетесь от своих гуманитарных чувств?” Поскольку частое устное разоблачение таких закоренелых софизмов было утомительной задачей, мы сочли удобным напечатать их, сведенные в таблицу и пронумерованные, каждый со своим надлежащим опровержением, под таким названием, как “Знакомые заблуждения”, или, позаимствовав у Сиднея Смита, “Речь лапши”; а затем, когда какой-нибудь оппонент восторженно высказывался с тем или иным из них, все, что нам нужно было сделать, это выслать ему список с пометкой против его собственного заблуждения. Доверьтесь тому, кто опробовал этот план: он более эффективен, чем любое количество личных разговоров. Человек, который до смерти наскучит

вам своей назойливой болтовней, полагая, что говорит что-то новое, вскоре устанет от нее, когда обнаружит, что вся история уже напечатана, с пометкой “Смотрите номер...”, крупно написанной синим карандашом против его самого оригинального аргумента.

Но Лига на этом не остановилась: после многолетнего опыта мы почувствовали себя компетентными перенести войну в лагерь врагов — подвести их к их же собственной петарде с помощью *доведения до абсурда*, мнимой защиты тех самых практик, на которые мы нападали. Публикация первого и единственного номера "*The Brutalitarian*", журнала для здравомыслящих и сильных, способствовала достижению наших целей. Типографию завалили просьбами прислать экземпляры, а редактор (насколько я случайно знаю) получил множество писем с теплыми поздравлениями за его усилия “по борьбе с болезненными настроениями современности”. Пресса в целом отнеслась к новой газете с насмешкой, смешанной с осторожностью: некоторые подозревали в ней руку мистера Г. К. Честертона, некоторые - мистера Бернарда Шоу, в то время как один предприимчивый редактор намекнул, что вэтом могли быть замешаны сами гуманитарии, но благоразумно добавил, что “возможно, это было бы приписыванием слишком большого ума Гуманитарной лиге”. Таким образом, авторство *Бруталитариста*, как и “Писем Джуниуса”, оставалось тайной; но смех, вызванный нелепыми восхвалениями Порки, на время положил конец крику, поднятому в *Блэквуде* мистером Г. У. Стивенсом и другими, что “мы слишком часто позволяем жестокости вымирать”. Им не понравилась их собственная панацея, когда ее подали им в неразбавленном виде, и с идиотизмом не меньшим, чем жестокость, в качестве основного ингредиента.

"Итонские бигли", конечно, представляли собой заманчивый объект для сатиры, поскольку было легко прибегнуть к чуши в шутливой защите охоты на зайцев, абсурдность которой была бы очевидна обычному читателю, но ускользнула бы от ограниченного интеллекта школьников и спортивных газет. Соответственно, в 1907 году появились два номера “*Мальчика-Биглера*”, которые вели два пожилых итонца с заявленной целью “спасти доблестный школьный вид спорта от вымирания” и со скрытым намерением показать, что нет ничего слишком глупого, чтобы быть серьезно принятым в качестве аргумента сторонниками кровавых видов спорта.

Успех *Мальчика-Биглера* в этом приключении ни на минуту не вызывал сомнений. Итонцы отнеслись к этому с энтузиазмом. “*Спортсмен*” счел это “публикацией по душе” и “гораздо более интересной и бодрящей, чем все, на что мы способны”; и мистификацию подобным же образом приветствовали *Sporting Life*, *Horse and Hound* и *Illustrated Sporting and Dramatic News*, периодическое издание, описанное (само по себе) как “яркое, занимательное и оригинальное”. Одним из самых торжественно-комических сообщений было то, что в *сельской местности* газета мистера Э. Кэя Робинсона, в которой был найден *мальчик-Биглер*. “умный и энергичный, но, конечно, *ex parte*”; но жемчужиной коллекции была длинная и серьезная диссертация на тему “Мальчики и бигли” в *British Medical Journal*, который думал, что его читатели будут рады привлечь их внимание к новому спортивному органу. Среди этих достойных людей было *очень тихо*, когда из общего смеха в прессе они узнали, что их обманули; но потрясение они перенесли в высшей степени добродушно. “Даже the beagler boys, - как заметила *Evening Standard*, - по крайней мере, те из них, кто знает, насколько редким и ценным инструментом является сатира, могут простить после того, как прочтут: возможно, некоторые даже обратятся”. Их разочарование, несомненно, было довольно острым в то время; подобно разочарованию льва, который, как рассказывается в “*Людоедах Цаво*”, унес из палатки то, что он принял за

кули, только для того, чтобы, отойдя на некоторое расстояние, обнаружить, что это был мешок с опилками.

The *Мальчик Биглер* был добавлен по просьбе лорда Харкорта в коллекцию книг, брошюр и других материалов, касающихся Итона, которую позже он подарил Школе. Я уверен, сэру Джорджу Гринвуду и другим пожилым итонцам, сотрудничавшим с ним в редакторской работе, должно быть приятно узнать, что плоды их труда таким образом хранятся в архивах Итонского колледжа.

Примерно через двенадцать месяцев после головокружительной карьеры *Мальчика Биглера* случилось так, что было много разговоров о миссии Итона в Китай, которая должна была дать китайцам “возможность получить наилучшее образование и познать христианство”. Затем произошла очень любопытная вещь. Китайский джентльмен, мистер Чинг Пин, который в то время находился в Англии, написал доктору Литтелтону, директору школы, и предложил возглавить китайскую миссию в Итоне, чтобы донести “послание человечности и цивилизации вашим юным западным варварам”. Предложение не было принято, и в прессе даже появились намеки на то, что мистер Чинг Пин прибыл с этой стороны Суэцкого канала; но как бы то ни было, его письмо доктору Литтелтону получило широкое распространение как в Англии, так и на Дальнем Востоке.

Таковы были некоторые развлечения модника; у нас были и другие, другого рода, поскольку повседневная работа, происходящая за кулисами в офисе, ни в коем случае не лишена развлечения для того, кто интересуется эксцентричностью человеческой природы и готов рискнуть несколькими потраченными впустую часами на их изучение. Было время, когда я почти ежедневно посещал штаб—квартиру Гуманитарной лиги на Чансери-лейн в течение нескольких лет, и там мне довелось столкнуться со многими странными посетителями и корреспондентами всех мастей: словоохотливыми чудаками и добродушными самозванцами; мошенниками, выпрашивающими стоимость железнодорожного билета до своих далеких и давно оплакиваемых домов; бывшими заключенными, предлагающими написать свою тюремную хронику за счет Лиги; нуждающимися журналистами, стремящимися получить абзац; сторонами в судебном процессе, нуждающимися в бесплатной юридической консультации; и, что хуже всего, доверчивыми занудами, которые были скрытными. преисполненный решимости часами беседовать с кем-нибудь о том, что мистер Стэд обычно называл “мировым прогрессом”.

Почта также часто приносила мне странные вести — возможно, письмо от какого-нибудь фанатика, приславшего свой последний памфлет о “Божьих бессловесных животных” (увы, от него самого! ни один из них), с просьбой немедленно переслать его Папе Римскому; объемистый рукописный труд, излагающий, как заверил меня его автор, “мнения экстраординарного и немыслимого рода”; антология библейских текстов, восхваляющая некую спорную практику; предложение о том, что печально известного убийцу следует выпороть, прежде чем повесить; серьезный протест от друга, который опасался, что общественные скотобойни “проложат путь социализму”; просьба от очень назойливого корреспондента о том, чтобы Лига наградила медалью человека, совершившего преступление. который спас ее от утопления; два двадцатистраничных послания от американской леди, которая в первом похвалила меня за мой “исключительно умный взгляд на вселенную”, а во втором откровенно назвала меня дураком; записка, приглашающая меня зайти по определенному адресу и забрать

кошку, которую автор хотел, чтобы я уничтожил; и настоятельный запрос, является ли морской песок полезной подстилкой для свиней. Такие сообщения были ежедневной наградой тех, кто сидел в офисах, продвигая гуманитарные принципы. Удивительно, как мало людей добровольно согласились на эту работу.

Даже арбитраж, в высшей степени деликатный и неблагодарный вид, был возложен на нас. Однажды мое мнение по поводу хороших манер спросил молодой человек, который был членом Гуманитарной лиги. У него никогда не было привычки снимать шляпу перед дамами; он едва ли знал, как это делается; и все же, приехав в Лондон из Аркадии, он обнаружил, что его упрекают за то, что он не отвесил обычного поклона жене своего работодателя. Что ему оставалось делать? Я дал ему, как мне показалось, тактичный совет, что ему следует пойти на компромисс и слегка приподнять шляпу, воздерживаясь от завитушек. Две недели спустя он вернулся в укоризненном настроении и сообщил, что мое слишком слабое уважение к принципам привело к катастрофическим последствиям. Он встретил даму на ступеньках какой-то станции метро и, пытаясь поклониться ей, уронил шляпу в поток выходящих пассажиров, где ее растоптали ногами.

Все это было достаточно хорошо для такого любителя, как я, который мог отступить, когда становилось невыносимо; но это заставило меня понять, почему официальные секретари пропагандистских обществ часто приобретают своего рода защитную проницательность, которую ошибочно приписывают какой-то врожденной хитрости в их характере. Заниматься реформаторской работой в офисе, открытом в определенные часы, все равно что быть выставленным в качестве живца, на которого может клюнуть каждый бродячий обитатель глубин или, если говорить более точно, мелководья; и не будет преувеличением сказать, что секретарской работе дела гораздо меньше мешают его явные враги, чем его мнимые друзья. Особенно среди зоофилов есть много хороших людей, леди, которые повсюду говорят о своей "работе милосердия", но при этом демонстрируют безжалостное безразличие к ценности времени других людей. Здесь, кстати, я могу сказать, что одним из самых внимательных посетителей, которых я когда-либо видел в офисе Гуманитарной лиги, был мистер Г. К. Честертон, который неоднократно выражал свои опасения, что, если он будет занимать много моего времени, пострадают наши друзья животные. "Можете ли вы заверить меня, - сказал он, - что, если я останусь еще на несколько минут, ни одному слону от этого не станет хуже?"

Безусловно, самым смертоносным потребителем гуманитарной энергии является доброжелательный Зануда. Был очень хороший и достойный пожилой джентльмен, который часто навещал меня, причину чего я узнал только много лет спустя; несколько раз он приносил с собой письменный список вопросов, которые мне нужно было задать, возможно, двенадцать или больше, единственным из которых я до сих пор помню, был не очень волнующий вопрос: "Итак, сэр, вы читаете "Эхо"?" В частности, он привлек мое внимание, как требующее самого серьезного изучения, к книге под названием "Альфа", написанной его другом и отличающейся, как он объяснил мне, от всех других печатных работ тем, что, хотя *они* выражают просто мнения соответствующих авторов, *Альфа* передает действительную и абсолютную истину. Испытывая симпатию и уважение к искреннему другу нашего дела, я не только ответил, как мог, на ряд его вопросов, но даже предпринял попытку прочесть *саму* Альфу: *однако здесь (как и в случае* сработами Генри Хевисайдса,, упомянутыми в предыдущей главе) я потерпел настолько полную неудачу, что все, что я мог сделать, это согласиться с автором книги в том, что она, безусловно, уникальна. Это было слишком двусмысленно, чтобы удовлетворить его; он разочаровался во

мне, и с того времени его визиты стали реже, пока они совсем не прекратились: таким образом, *Альфа* стала в некотором роде Омегой или концом нашего общения. После его смерти я узнал, что он оставил деньги, чтобы основать Общество; и только тогда я понял, почему он с таким усердием “пробовал себя” в Гуманитарной лиге. Сами того не ведая, мы были взвешены на весах и признаны нуждающимися: мы не были способны на столь великое и священное доверие.

Иногда гости приезжали из-за рубежа; в одном случае мы сами невольно навлекли это на себя, отправив в мадридские газеты отчет о скандальной сцене, произошедшей с королевскими борзыми, нашей целью было показать, что британская охота на оленей и испанская травля быков происходят из одного и того же источника. Мы не знали, с каким энтузиазмом испанские газеты взялись за эту тему, пока однажды на Чансери-лейн не появился разъяренный американец, который сказал нам, что его работа на Канарских островах была сорвана нашими действиями. В течение многих лет, по его словам, он проповедовал доброту к животным, делая Англию образцом для подражания, а теперь одним махом все его труды пошли прахом, поскольку история о британской оленьей приманке со скоростью лесного пожара облетела испанские газеты, а оттуда и Канарские острова. Мы выразили ему наше искреннее сожаление по поводу этого несчастного случая, но попытались заставить его понять, что это не наша вина, если он основывал свою пропаганду на ложном принципе, а именно. о превосходстве англосаксонской этики, а не о всеобщем обязательстве гуманности. Это было бесполезно. Он потратил много времени на возбужденные разговоры и ушел неудовлетворенным. Я чувствую, что этот инцидент следует отнести не к нашим развлечениям, а к нашим невзгодам; но, поскольку у меня нет главы на последнюю тему, я должен оставить ее там, где она есть.

Но здесь некоторые из моих читателей, возможно, задаются вопросом, почему офис Гуманитарной лиги был так открыт для атак: они представляют его, возможно, как роскошный комплекс квартир, расположенных одна в другой, с привратником во внешних помещениях, искусным в искусстве отправки нежелательного посетителя в космос. На самом деле условия жизни Лиги были очень скромными, а жилье соответствовало ее доходам; некоторые из наших друзей, по правде говоря, любили подшутить над нами, цитируя хорошо известный стих из “Стансов Лоуэлла Ллойд Гаррисону”:

В маленькой комнате, одинокий и невидимый,
Трудился над собой один бедный необразованный молодой человек;
Место было темным, без мебели и убогим;
И все же там начиналась свобода расы.

Таким образом, в прихожей очень маленьких размеров мы были почти во власти любого, кто открывал наружную дверь; ибо, хотя секретарь Лиги мисс Уитекер самоотверженно бросалась вперед, чтобы принять на себя основную тяжесть атаки, немало наших противников прорвались через линию фронта и оказались далеко среди нас, прежде чем мы осознали это. Этому я обязан своим немалым знанием о пожирающей время Скуке.

Среди бывших заключенных, которые иногда навещали нас, были очень хорошие ребята с реальным желанием сделать что-то для улучшения пенитенциарной системы, которую все они описывали как совершенно плохую; но, как правило, им не хватало силы выразить то, что они знали, или им мешал какой-то личный недуг. Был один, тихий вежливый человек, которому не терпелось прочитать лекцию перед Лигой, и он заверил нас, что, хотя он и был склонен к выпивке, он позаботится о том, чтобы ни одна из его оплошностей не совпала с датой его появления на нашей платформе. Это был риск, на который мы не были расположены идти; но, как ни странно, та самая катастрофа, которой мы избежали в этом случае, действительно постигла нас год или два спустя на самом респектабельном собрании, которое мы организовали совместно с другим Обществом. С первым ударом часов, когда вся аудитория уже сидела в ожидании, а председатель был готов подняться на трибуну, поддерживаемый членами нашего Комитета, до нас дошла весть, что сам лектор присутствовать не сможет: фактически, “поддерживать” нужно было его в другом, более буквальном смысле.

Бывшие надзиратели не часто удостоивали нас визитом; но один из них работал в тюрьме Рединга в то время, когда там сидел Оскар Уайльд: таков был его рассказ, и у меня не было причин не верить ему. Он рассказал мне несколько поучительных анекдотов, среди которых следующий: “Раньше Уайльду было очень тяжело из-за того, что застекленное окно его камеры не позволяло ему видеть небо (вспоминается его упоминание в *“Балладе Редингской тюрьмы”* о “той маленькой голубой палатке, которую заключенные называют небом”); и однажды, когда тюремный капеллан навещал его, он с грустью рассказал об этой обиде. Но капеллан лишь предложил ему духовное утешение и призвал вознести свои мысли “к Тому, кто выше неба”; на что Уайльд, внезапно потеряв терпение, воскликнул: “Убирайся, чертов дурак!” - и подтолкнул его к двери. За это о нем доложили губернатору.

Лига не часто имела честь быть в согласии с Тюремными комиссарами; но мы подумали, что они поступили мудро, отклонив слишком щедрое предложение организации, называющей себя Обществом поэтических вечеров, читать стихи заключенным. Слова “Я был в тюрьме, и вы пришли ко Мне” приобрели бы новое и устрашающее значение, если бы на беспомощных заключенных наших тюрем было выпущено несколько стихотворцев и декламаторов. Со стороны этих менестрелей казалось варварством пытаться привлечь аудиторию, у которой не было выбора в этом вопросе и у которой не было даже открытого окна, через которое можно было бы выпрыгнуть, если бы напряжение стало слишком острым.

У нас на Чансери-лейн не было недостатка в нищих и мошенниках; их цели соответствовали - считать Гуманитарную лигу в первую очередь созданной для помощи неимущим; само ее название, по их мнению, не могло означать ничего меньшего. В основном это были молодые люди, которые, казалось, действовали согласованно, потому что обычно они приходили, как бы по кругу, в определенное время года. Их менталитет был низкого порядка (или они думали, что наш таковым является), поскольку, хотя они проявляли определенную изобретательность в сборе предварительной информации о сторонах, которым они пытались навязать свою позицию, они часто представляли свою позицию настолько плохо, что делали ее явно абсурдной. Иногда, однако, появлялся действительно умный и с чувством юмора мошенник. Был один такой, который начал многословное заявление, что, если бы я дал ему всего двадцать минут, он смог бы убедить меня, что заслуживает полкроны; но когда я намекнул, что, если интервью обойдется мне в полкроны, я предпочел бы обойтись без этих двадцати минут, его

серьезность спала с него, как облако, и, сверкнув глазами, он сказал, что был бы только рад сократить свой рассказ так, как мне нравится.

Когда я был магистром в Итоне, я подписывался на благотворительную организацию Society, и эта суровая организация вручила мне несколько билетов, по одному из которых полагалось раздавать каждому нищему, который зайдет; но беда была в том, что бродяги отказались относиться к “клочку бумаги” серьезно и, по сути, сообщили нам, что, когда они просят хлеба, мы предлагаем им камень. Это, конечно, казалось не совсем человеческим способом обращения с ближним; если только человек не мог придерживаться уверенности, уверенно высказанной мне одним из моих коллег по Итону, очень религиозным человеком, что у каждого нищенствующего, которого мы встречаем, был хороший шанс в жизни, и он намеренно им пренебрег. Логика этой точки зрения заключалась в том, чтобы сказать “нет” всем.

Однажды у меня была возможность увидеть, как прямо противоположная теория применяется на практике. Когда я жил в Суррее, меня навел князь Кропоткин, который искал дом в этом районе, и мы провели день, прогуливаясь в этих поисках. Мы встретили группу нищих, чья внешность была явно профессиональной; и я заметил, что Кропоткин сразу же откликнулся на их призыв. Позже в тот же день мы присоединились к той же группе, и снова, когда они рассказали свою историю горя, Кропоткин сунул руку в карман. Тут я осмелился спросить его, заметил ли он, что это одна и та же партия, на что он ответил: “О да. Я знаю, что они, вероятно, самозванцы и пропьют деньги в трактире; но мы возвращаемся к нашему уютному чаепитию, и я не могу рисковать и отказать в помощи там, где она, возможно, потребуется. Если в этом вопросе кто-то сочувствует Кропоткину, а не благотворительной организации “Фолк”, я полагаю, что это по принципу Шелли - что он “предпочел бы быть проклятым вместе с Платоном и лордом Бэконом, чем быть спасенным с Пейли и Мальтусом”.

Я завершу эту главу о наших развлечениях довольно занимательным отрывком из *Признаний*:

“Я сам, а за мной друг; остальное может отправляться к дьяволу; и будьте уверены, что когда какой-либо человек более глупо тщеславен и возмутительно эгоистичен, чем его собрат, он скроет свое уродство за гуманизмом.... Гуманизм - это свинарник, где собираются лжецы, лицемеры и непристойные по духу люди; так было с тех пор, как великий еврей задумал его, и так будет до конца. Гораздо лучше беспечный современный язычник в своем белом галстуке и вечернем костюме, со своей легкой философией. Он говорит: “Мне все равно, как живут бедняки; я сожалею только о том, что они вообще живут”; и он дает нищему шиллинг”.

Много лет назад на собрании Общества Шелли я имел удовольствие побеседовать с мистером Джорджем Муром; и я помню, что, когда он спросил меня, какой работой я занимаюсь, и я ответил, что это в основном гуманитарная деятельность, на его выразительном лице появилось выражение полуневерного удивления и отвращения — такой взгляд епископ мог бы бросить на того, кто хладнокровно заметил, что он только что совершил грех против Святого Духа. В тот момент я был несколько озадачен; и лишь много времени спустя, когда я прочитал *Признания* мистера Мура, я понял, в каких преступлениях я уличил себя в его глазах своим слишком неосторожным признанием. Но что касается “беспечного современного язычника”, я подозреваю, что он был бы немного менее беспечен, если бы его желание исполнилось и бедняки вообще не жили; ибо как тогда он получил бы свой вечерний костюм и белый галстук? Можно опасаться, что ему придется полностью полагаться на свою “поверхностную

философию”, подобно тому, как когда-то считалось, что улитки питаются собственной сочностью.

XIII

СЛЕДЫ КОПЫТ ВАНДАЛА

Варвар придает земле, на которой он живет, аспект грубой жестокости.—Elisée Reclus.

ГУМАНИЗМ - это не просто выражение сочувствия к боли: это протест против любой тирании и осквернения, будь то причинение страданий живым существам или вандализм, который может безжалостно разрушить естественную благодать земли. Следы современного вандала наиболее отчетливо видны в отношениях человека с горами, где из-за неукротимой дикости пейзажа любое повреждение наверняка будет непоправимым.

Так случилось, что, поскольку я уже много лет довольно близко знаком с горами Карнарвоншира и Камберленда, процесс разграбления, который, как заметила Элизе Реклю, является характерной чертой варварства, привлек мое внимание именно там. Прошло почти полвека с тех пор, как мускулистый епископ, доктор Г. А. Селвин, о котором я говорил в предыдущей главе, познакомил меня с некоторыми из самых диких гор Северного Уэльса, когда в качестве наставника его племянника я был одним из епископальной группы, отправившейся на летние каникулы из Личфилда в Пенменмор. Там епископ очень добродушно расслабился от сурового величия своего Дворца и, раздобыв карту местности, не только загорелся желанием найти дорогу через холмы к Ллин-ан-Афону, озеру, расположенному у подножия большого хребта Карнедд-Ллевелин, но и настоял на том, чтобы его сопровождали его племянник и наставник его племянника. Альпинизм, как я впоследствии убедился, не мог быть одним из многих достижений доктора Селвина; потому что нам пришлось совершить не одну экспедицию, прежде чем мы увидели озеро, и во время нашей первой прогулки он поскользнулся на крутом гребне и вывихнул большой палец из сустава, к тайному удовольствию, которого, как я имел основания опасаться, моего ученика, который, сильно не любя эти форсированные марши в глушь, рассматривал несчастный случай как возмездие дядюшкиному деспотизму. Но для меня опыт пребывания в этих суровых высокогорьях был бесценен, поскольку это было началом любви к горам, как кембрийским, так и кембрийской, которая заставляла меня возвращаться к ним снова и снова, пока я не совершил более сотни посещений их главных вершин. Таким образом, я не мог не отметить, то в одном районе, то в другом, как была занята рука осквернителя.

Недавние дискуссии в прессе по поводу предлагаемой автомобильной дороги Стих-Хед были полезны в двух отношениях: во-первых, они вызвали столь сильное и общее выражение мнения против этого опрометчивого проекта, что сделали его реализацию крайне маловероятной в течение длительного времени; и, во-вторых, они привлекли внимание к более широкому и глубокому вопросу сохранения британских горных пейзажей от различного рода вандализма. Покушение на Заведующую Хлебом само по себе было важным наглядным уроком об опасностях, которым подвергаются наши горные “святые места”. Сто пятьдесят лет назад поэт Грей мог бы так написать о деревушке Ситуэйт, где со стороны Борроудейла находится знаменитый перевал:

- Любой дальнейший доступ сюда закрыт для любопытных смертных, есть только небольшая тропинка, вьющаяся по холмам и доступная для жителей долин в течение нескольких недель в году; но горы хорошо знают, что эти невинные люди не раскроют тайны своего древнего королевства.

Если горы придерживались этой веры, то это были *они*, а не жители долин, которые были невинны, поскольку узкая тропинка была найдена проходимой в любое время года; и мистер Г. Д. Абрахам, сам выдающийся альпинист и уроженец этого района, был настолько готов раскрыть тайны гор, что умолял в своей книге о *автомобильных дорогах в Лейкленде* проложить большую дорогу от того самого места, куда раньше был закрыт любой дальнейший доступ. “Причудливая маленькая деревушка старого света, - сказал он, - несомненно, вернет себе былую славу, когда шоссе через перевал Стай-Хед станет свершившимся фактом”.

Любовь к горам, сама по себе порождение современности, фактически принесла с собой опасность, которой раньше не существовало; она открыла врата и указала путь к святилищу; но что, если туда, куда входит поклоняющийся, войдет и разрушитель? Что, если рядом с пилигримом следует старатель?

Несколько лет назад мистер К. П. Тревельян, член парламента, представил “Закон о доступе в горы”, который, защищая интересы землевладельцев, позволил бы пешеходам удовлетворять свою любовь к горным пейзажам, поднимаясь на вершины невозделанных гор или вересковые пустоши. Все любители природы должны желать, чтобы такая мера стала законом; и можно надеяться, что сами землевладельцы не будут упорствовать в противодействии этому, поскольку рассмотрение должно показать им, что невозможно навсегда изгнать людей с вершин холмов их родной земли. Даже сейчас, поскольку привлекает трудное и запретное, есть определенное удовольствие в попытке восхождения на те высоты, которые в понимании землевладельца (не альпиниста) все еще “недоступны” — точно так же, как альпинисты находят удовольствие в стремлении преодолеть препятствия в виде скал или оврагов. Кто не мечтал пересечь величественную границу и попасть в какой-нибудь Тибет, где можно выслеживать оленей или охотиться на куропаток, где за знакомым указателем, гласящим, что “нарушители будут привлечены к ответственности”, все окутано туманом и тайной? Какой любитель гор не пытался временами вырвать “доступ в горы” там, где доступ был запрещен?

Я до сих пор помню пикантность рейда, хотя и неудачного, на одну из вершин Грампианских гор, когда наша небольшая группа альпинистов, стартовав из Авимора и миновав поросшие вереском берега озера Лох-ан-Эйлан, столкнулась возле “Камня Аргайл” с несколькими охотниками на оленей, которые громко застонали от ярости, когда услышали, каким маршрутом мы поднимались, и настояли на том, чтобы мы спустились в Кинкрейг. Они сказали нам, что мы испортили их сегодняшнее развлечение; и мы, хотя и сожалели об этом, не могли удержаться от того, чтобы сказать, что они в равной степени испортили наше. Однако во время этого бесславного спуска мы в какой-то мере утешились видом скопы, или орла-рыболова, парящей над рекой Спей: несомненно, эта птица была одной из пары, которая годами населяла Лох-ан-Эйлан, пока проклятая алчность собирателей яиц не изгнала их почти с последнего места размножения.

Одной из самых неприступных высот Англии в наши дни является Киндерскаут, “Пик” Дербишира, треугольное плато с вересковыми пустошами, скалистые “края” которого разбиты на фантастические башенки и “замки”. Только здесь Дербиширские холмы демонстрируют некоторые истинные горные характеристики; и центральное положение “Пика”, который находится примерно в двадцати милях на равном расстоянии от Шеффилда, Манчестера и Хаддерсфилда, по-видимому, указывает на то, что он является уникальной игровой площадкой для жителей наших больших промышленных городов. На самом деле, это *терра инкогнита* для всех, кроме очень немногих, место, где не рабочие обретают здоровье, а спортсмены охотятся на куропаток; и нет в Англии места, которое охранялось бы от незваных гостей с большей ревностью. Я говорю это намеренно, поскольку однажды я с несколькими друзьями попытался “проскочить” горный хребет с общедоступной тропы, пересекающей его западные склоны, только для того, чтобы быть настигнутым и повернутым назад каким-то опытным егерем.^[36] Потеря для населения права проезда по этим вересковым пустошам, как и по многим подобным местам, прискорбна; и здесь, как и везде, достигнутый компромисс был в значительной степени выгоден домовладельцу, ибо, в то время как охотник на тетеревов не допускает публику на обширную территорию вересковых пустошей, путник оказывается ограниченным самыми узкими окольными путями и оскорблен, как и в Ашоп-Хед, настоящим нашествием досок объявлений, угрожающих всеми воображаемыми муками и наказаниями закона за любое отклонение от маршрута на склоне холма. Безусловно, срочно требуется законопроект о доступе в горы.

Но есть одна вещь, которая даже хуже, чем слишком ограниченный доступ к горам, и это уступка слишком многому. От всей души хотелось бы, чтобы такие районы, как Озерные, Сноудония и другие, которые можно было бы назвать, давным-давно стали недоступными в этом смысле для владельца железной дороги, учредителя компании и всех других вандалов, которые в коммерческих целях разрушают святость холмов. На самом деле, мы должны рассмотреть, какой *вид* доступа мы предлагаем, поскольку точно так же, как в мире существует огромная разница между допуском публики увидеть грандиозное произведение скульптуры и допуском человека, который задумал откусить статуе нос, мы должны различать тех, кто приезжает в горы, чтобы поразмыслить о красотах природы, и тех, кто приезжает туда, чтобы поразмыслить в более низменном смысле. Доступ к горам сам по себе очень желателен, но что, если в конце концов у нас не останется гор, к которым можно приблизиться? В этом отношении Законопроект можно было бы усилить, запретив Вандалу доступ, который он предоставил бы альпинисту.

Уже многое из того, что имело неопределимую ценность, было утрачено. Озерному краю в этом отношении повезло больше, чем некоторым другим населенным пунктам, потому что благодаря сильному чувству, вызванному озерными поэтами, значительная часть общественного мнения выступает против любого акта осквернения. За это мы должны поблагодарить, во-первых, великое имя Вордсворта, а во-вторых, верную команду защитников, которая встала между предприимчивым подрядчиком и его добычей, как в случае с некогда угрожаемой железной дорогой в Эмблсайд и Грасмер. Но даже в Лейкленде был нанесен немалый ущерб, например, из-за добычи полезных ископаемых, которые разрушили пейзажи Конистона, и из-за разрешения, предоставленного Манчестеру, превратить некогда лесной и уединенный Тирлмер в пригородный резервуар - сначала Тирлмер, а теперь последует разорение Хоусуотера.

В более ранней части этой книги упоминалось о визите, который я нанес в Конистон зимой 1878-79 годов. Случилось так, что период сильных морозов и безоблачного неба превратил Озерные горы в странное волшебное царство: скалы были фантастически покрыты листьями и снежными перьями, а ручьи и водопады превратились в сверкающие массы льда. Я был единственным посетителем этого места (это было до приезда мистера Харрисона Райли), и в течение нескольких дней я карабкался по хребту горы Олд-Мэн, не встретив ни одного человека, когда однажды днем на берегу Лevers-Уотер одинокая фигура внезапно появилась из-за выступа холма и молча прошествовала мимо меня, словно погруженная в раздумья. Я сразу понял, что это Раскин, ибо какой другой житель Конистона оказался бы на холмах в такое время года?

Несколько дней спустя, когда я поехал в Брэнтвуд с Харрисоном Райли, как я уже описывал, Раскин много рассказывал о своих любимых горных местах, показывая нам свои грядки с земляникой и террасы на склоне холма, похожие на швейцарские дороги; также небольшой ручей, протекающий через его владения к озеру, которое, по его словам, никогда не пересыхало и было для него драгоценно, как ручей из чистого золота. Озерный пейзаж, по его словам, почти компенсировал ему потерю Швейцарии, которую он не мог надеяться увидеть снова; его чувство к ней было не столько привязанностью, сколько "благоговением". Но закаты были для него разочарованием, потому что небо над головой Старика часто было хмурым и затянутым тучами, и он объяснял это ядовитым влиянием медных рудников.

В настоящее время главной опасностью для тишины и красоты Озерного края, по-видимому, является увлечение мотоспортом, особенно той его разновидностью, которая получила название "увлекательный спорт охоты в горах", игра, которая превратила перевал Киркстоун в место ужаса, где шумные машины пыхтят и фыркают по одной стороне и яростно прожигают по другой, и которая теперь жаждет покорения новых высот. Если не на Хлев, то почему бы не проложить автомобильную дорогу по старой трассе из Лэнгдейла в Эскдейл через перевалы Риноуз и Хардкнотт? Таков был "компромисс", который неразумно предложили некоторые любители гор, забыв, во-первых, что даже эта капитуляция, хотя и менее смертоносная, чем капитуляция Хлевовника, повлекла бы за собой разрушение дикой и примитивной местности, и, во-вторых, что, поскольку в подобных сделках нет окончательного решения, это только разожгло бы аппетит автомобилистов к большему. Обычно также упускается из виду, хотя этот момент очень важен, что захватчики уже получили гораздо больше, чем им причитается, в округе; поскольку прокладке многих из существующих сейчас дорог много лет назад решительно воспротивились бы, если бы можно было предвидеть, в каких беспорядках они будут использоваться.

Но именно тогда, когда мы обращаемся к горам Сноудонии, мы видим, какой непростительный вред был нанесен алчностью частного предпринимательства при попустительстве безразличия общественности. Несколько странным фактом является то, что, хотя существует английское отделение Лиги сохранения швейцарских пейзажей, не предпринимается никаких организованных попыток сохранить наши собственные горные пейзажи не только от осквернения, но и от разрушения.^[37]

Возьмем, к примеру, реку Гласлин, которая течет из центра Сноудона через Cwm Dyli и Nant Gwynant, пока не достигнет перевала Абергласлин и не выйдет к морю. Посетителей часто приглашают полюбоваться "энергетическими сооружениями", возведенными несколько лет

назад в верховьях Нант-Гвинанта, и другими признаками предприимчивости; но с точки зрения любителя природы, стоит рассказать совсем другую историю. Некогда стройный пик Сноудон был притуплен в виде бесформенного конуса отелем Summit, который с тех пор пристроил к своим помещениям зубчатую стену, построенную из красного кирпича; и Гласлин, и Ллин-Ллидоу, два озера безупречной природной красоты, давно были осквернены медными рудниками; а совсем недавно великолепный водопад, через который ручей стремглав неся из Cwm Dyli в Nant Gwynant, был заменен линией отвратительных металлических труб, изуродовавших весь склон. Что касается знаменитого перевала Абергласлин, разрушенного железнодорожными работами и прокладкой туннелей, безжалостно начатого, а затем временно заброшенного, его состояние можно охарактеризовать только как состояние застойного опустошения.

И все же весь этот горный пейзаж, который был безрассудно принесен в жертву частным целям, мог бы стать общественным достоянием неоценимой ценности, если бы за ним ухаживали так, как он того заслуживал; и в Сноудонии еще осталось многое, что можно было бы сохранить для удовольствия и освежения будущих поколений, если бы удалось развеять апатию общественных чувств и валлийского народа. Но бесполезно искать местное сопротивление этому вандализму, поскольку всегда наталкиваешься на утверждение, верное, но не относящееся к делу, что такие предприятия “дают работу”; что, действительно, в равной степени оправдало бы снос Вестминстерского аббатства, чтобы “дать работу” безработным Лондона. Ничто, кроме просвещенного общественного мнения, выраженного безошибочно, не может теперь предотвратить разрушение (ибо так оно и есть) благороднейших гор Уэльса, а возможно, и всей Британии.

Странно, что несоответствие — отсутствие юмора - в этих надругательствах над святостью великой горы не дает о себе знать. Что может быть нелепее, помимо грубого вандализма этого акта, чем построить железнодорожную станцию в Сноудоне? Друг, хорошо знающий валлийские горы, рассказал мне, что во время своего первого посещения вершины после строительства отеля “Саммит” он заметил своему спутнику: “После обеда нас здесь будут ждать по зеленому шартрезу”. Услышавший его официант сказал: “У нас нет зеленого шартреза, сэр, но у нас есть черри-бренди и кюрасо, если хотите”.

В небольшой книжке под названием *О Кембрии и Камбрийских холмах*, опубликованной в 1908 году, я решительно прокомментировал эти безобразия, и справедливость моей критики в отношении разрушения горных пейзажей Уэльса не подвергалась серьезному сомнению в местной прессе, хотя один редактор обвинил меня в “злостной клевете на народ Уэльса” и выразился, что мои замечания причинили ему “настоящую боль”. Когда, однако, я попросил его подумать о том, какую реальную боль уродство Сноудона причинило любителям гор, и предположил, что вместо того, чтобы отчитывать меня, он должен попытаться побудить своих читателей положить конец вандализму, который ради временной наживы губит некоторые из лучших районов Карнарвоншира, он дал ответ, который, по сути, был самым красноречивым подтверждением моей жалобы; поскольку он заявил, что я, очевидно, “не имею представления о трудностях, с которыми приходится сталкиваться жителям Северного Уэльса, когда они выступают против любых действий”. коммерческое предприятие, поддерживаемое английскими спекулянтами, которое угрожает испортить наши достопримечательности”.^[38] Вот вам и фатальная правда в предложении! Что портит Сноудонию, так это коммерческая алчность самих валлийцев, используемая английскими капиталистами. Редактор наивно

добавил, что, если бы я сам жил в Северном Уэльсе, я был бы “более сочувствующим”. То есть более сочувствующим жителям Уэльса, которые знают, что их страна разоряется, но не осмеливаются сказать об этом; менее сочувствующим любителям гор, которые сожалеют об этом преступлении!

В оправданиях, выдвигаемых для вторжения в горы с помощью фуникулеров, автомобильных дорог и тому подобного, есть комический элемент, который был бы чрезвычайно занимательным, если бы на карту не было поставлено само существование горных пейзажей. Таким образом, я столкнулся с аргументом о том, что горная железная дорога, подобная Сноудонской, “переносит в более чистую атмосферу и в облагораживающее окружение тех, у кого нет другого способа усвоить урок, который могут преподать великие горы”, а именно “неможных тружеников городов”. Мне, как человеку, уличенному в “небольшом эгоизме”, напомнили, что “со слабыми и немощными нужно считаться так же, как со спортивными и выносливыми”. Но, во-первых, те, кто путешествует таким дорогим маршрутом, как эта горная железная дорога, редко являются городскими тружениками, и, насколько я наблюдал за ними, они не являются “слабыми и немощными”. Похоже, что это в основном здоровые состоятельные туристы, которым лень шевелить ногами. Однажды я случайно услышал, как пассажир в поезде, описывая недавнюю поездку в Швейцарию, заметил: “О нет, я *непрошел* ни шагу. Фуникулеры поднимают почти на все горы — Пилатус, Риги и остальные. Я бы и фига не дал, чтобы *дойти* пешком”.

Забавно также находить “имперские” доводы, выдвигаемые в защиту Сноудонской железной дороги, в так называемом “Официальном руководстве”, брошюре, изданной Лондонской и Северо-Западной железной дорогой в Лланберисе, Англия, как нам с гордостью сообщают, “обычно не стремится отставать от других стран в вопросах прогресса, но что касается применения механических средств для достижения вершин гор, то до сих пор это, безусловно, было так”. Вывод очевиден. Альпинисты-патриоты должны подниматься на Сноудон на поезде.

Затем идет умное обращение к чувству опасности и романтики. В том же бескорыстном трактате нам сообщается, что владелец Сноудона (да, читатель, Сноудон является *собственностью*!), “принимая во внимание потребности современного туриста, растущее стремление людей “совершить” Сноудон и опасности, которые подстерегают обычные способы, доступные для этой цели, почувствовал, что уединенность и святость Сноудона должны в определенной степени уступить место поступательному продвижению века”. И еще: “До сих пор никто, кроме самых отважных или самых жизнерадостных, не отваживался подниматься вверх во время шторма.... Тем не менее, Сноудон во время шторма представляет собой зрелище впечатляющего величия, и новая железная дорога позволит увидеть его в таком ракурсе без риска”. Отныне поэты будут знать, как созерцать величие надвигающейся бури. “Я взобрался на темное чело могучего Хелвеллина”, - пел Скотт. Современный певец возьмет билет на трамвай до Сноудон-Маунтин.

Истинное возражение против горных железных дорог заключается не в том, что они доставляют на гору больше людей, а в том, что они портят то, на что люди приходят посмотреть, а именно. саму гору. Окружающая среда, по сути, больше не “облагораживает”, когда горная вершина опошляется, как это было в Сноудоне, железной дорогой и отелем; тогда это вообще не горный пейзаж. В Северном Уэльсе и в каждом горном округе есть бесчисленное множество точек обзора, куда можно легко доставить слабых и немощных и откуда они могут увидеть горы в

лучшем их проявлении; но построить железную дорогу к главной вершине - значит “убить курицу, несущую золотые яйца”, потому что, когда это будет сделано, горы (в истинном смысле этого слова) больше не будут доставлять удовольствия ни слабым, ни сильным.

И, несомненно, слабые могут искать свои удовольствия более подходящими способами, чем подниматься в горы на паровозе. Я слышал о слепом человеке, который поднялся с другом на вершину Гоатфелла на острове Арран, потому что хотел вдохнуть горный воздух и услышать грохот морских волн далеко внизу. Разве это не лучше, чем испортить Козлобородого жердью? Конечно, нельзя сказать, что такие железные дороги на самом деле созданы для блага слабых; они строятся в коммерческих целях, чтобы класть деньги в частные карманы за счет пейзажей, которые должны принадлежать обществу в целом.

Но не только любители природы и скалолазы заинтересованы в сохранении гор; также натуралисты и ботаники очень глубоко обеспокоены, поскольку уничтожение более редкой фауны и флоры практически гарантировано, если не остановить распространение этого вандализма. Беркут, коршун и скопа исчезли. Хотим ли мы, чтобы такие птицы, как ворон, галка, канюк и сапсан, выжили в своих немногих оставшихся цитаделях? Если это так, мы должны принять меры, чтобы остановить грабежи не только туристов, собирающих яйца, но и смертоносных егерьей.

Полет канюка - одна из величайших достопримечательностей холмов Камберленда и Карнарвоншира, и вызывает глубокое сожаление тот факт, что столь красивая и безобидная птица была бессмысленно уничтожена. Худшее — или лучше сказать, лучшее? — что можно сказать о канюке, это то, что в очень редких случаях он, как известно, “наклоняется” к людям, приближающимся к его гнезду. В письме, которое появилось в *Lakes Chronicle* несколько лет назад, турист нелепо жаловался, что на него напала на горе близ Уиндермира “огромная птица” — очевидно, канюк, — и настаивал, что “было бы на пользу общественности, если бы какой-нибудь меткий стрелок освободил гору от этого мерзкого узурпатора”. Канюк, защищающий свое гнездо, - “злой узурпатор”! Такова степень симпатии, которую средний турист испытывает к дикой горной птице! А что касается орнитологических знаний, то об этом можно судить по тому факту, что аналогичный инцидент на той же горе действительно был описан в газетах под заголовком “*Дрофа* нападает на священнослужителя”.

О дикой высокогорной флоре можно рассказать ту же историю. Повальное увлечение сбором и, что еще хуже, выкорчевыванием более редких альпийских растений едва не привело к исчезновению нескольких видов, таких как *камнеломка нивальная*, которая раньше довольно часто встречалась на Сноудоне, Хелвеллине и других британских холмах; и это несмотря на многочисленные призывы улучшить самочувствие туристов. Общественный настрой в этих вопросах, похоже, почти мертв.

Что же тогда делается перед лицом этих разрушительных сил, чтобы сохранить наши дикие горные районы и дикую жизнь, которая является для них родной, от разорения, которым они угрожают? Насколько мне известно, помимо периодических протестов в газетах, Национальный фонд и родственные общества время от времени обращаются к общественности с призывом спасти путем частной покупки определенные “места красоты” от разграбления. Эти призывы не могут не встретить полного одобрения любителей природы, и спасение таких поместий, как Кэтбеллс, Гоубарроу, Грейндж Фелл и других, которые можно было бы упомянуть, представляет собой реальную меру успеха. И все же необходимо ответить на вопрос: что делать в будущем,

если, как это наверняка произойдет, угроза нашим горам сохранится? Слишком надеяться на то, что большие суммы всегда можно собрать по частной подписке; кроме того, в то время как одно облюбованное место охраняется, другие, менее удачливые, разрушаются. Мы не можем спасти наши горы в целом за счет этих частичных покупок; ибо даже если бы деньги всегда были доступны, скорость разрушения превышает скорость покупки, и власть многих синдикатов, которые будут эксплуатировать горы, обязательно должна быть больше, чем у немногих обществ, которые будут их сохранять. Одним словом, частных действий в долгосрочной перспективе совершенно недостаточно для отражения столь масштабной атаки.

Что необходимо, так это общественные действия в масштабах, соизмеримых со злом, в направлении “резервирования” определенных районов как убежищ для всей дикой жизни. На самом деле нам нужны высокогорные парки, в которых сами холмы с дикими животными и растениями, обитающими на холмах, будут сохранены в их первозданности как собственность народа; устройство, которое было бы одинаково приятно любителю природы, натуралисту и альпинисту и принесло бы гораздо больше “пользы” нации в целом, чем уродство ее прекрасных мест.

Никоим образом не предполагая, что Национальный фонд должен ослабить свои усилия по спасению путем покупки определенных участков, я думаю, что он оказал бы еще большую услугу, если бы смог найти способ организовать движение для оказания давления на правительство в связи с настоятельной необходимостью принятия некоторых активных мер по противодействию ущербу, который коммерческие интересы наносят истинным интересам народа. В противном случае результатом будет то, что, хотя несколько мест будут спасены, целые районы будут потеряны, и в конечном итоге все, чем будет обладать нация, превратится в несколько оазисов красоты в пустыне уродства.

Как я уже указывал в другом месте,^[39] существует только одно полное решение проблемы, а именно национализация таких районов, как Сноудония, Лейкленд, Пик Дербишир и другие места проведения государственных праздников, и, таким образом, сохранение их для использования и наслаждения людей на все времена. “Если парки, открытые пространства, железные дороги, трамваи, водоснабжение и другие общественные нужды могут быть национализированы, почему бы не национализировать горы? Невозможно переоценить ценность гор как места отдыха души и тела; тем не менее, в то время как мы осознаем необходимость соблюдения общественных прав в других областях, мы позволяем приносить наши горы — в Северном Уэльсе и других местах — в жертву коммерческому эгоизму. Если бы Сноудон, например, был куплен обществом двадцать лет назад, инвестиции были бы намного более прибыльными, чем те, которыми мы обычно занимаемся; но, хотя мы готовы потратить огромные суммы на захват чужой территории, у нас, конечно, нет ни пенни, чтобы сэкономить на сохранении нашей собственной”.

XIV

БЕЗНАДЕЖНАЯ НАДЕЖДА

По крайней мере, мы свидетельствуем о тебе, прежде чем умрем,
Что все происходит не иначе, а так.

Суинберн.

Двадцатичетырехлетняя работа с Гуманитарной лигой оставила нерешенными многие проблемы, многие практические вопросы нерешенными; но в одном некоторые из нас теперь не испытывали ни малейшей неуверенности - что раса, которая все еще цепко придерживалась обычаев, на которые я обратил внимание в предыдущих главах, по сути своей варварская, не только в своем рационе, хотя заботой животных для употребления в пищу впервые привлек наше внимание, но также, и не менее вопиюще, в своей пенитенциарной системе, своих видах спорта, своей моде и общем отношении к той огромной группе наших братьев, которые поначалу привлекли наше внимание. мы называем это "животными". Не нужна была наводящая на размышления книга мистера Говарда Мура "*Пережитки дикарей*", [40], чтобы убедить нас в этом; но мы нашли в сделанных им выводах достаточное подтверждение тех, которые мы давно имели в виду, и которые одни могли объяснить упорную приверженность образованных, а также необразованных классов ряду примитивных и совершенно нецивилизованных привычек. "Невозможно, - говорит он, - понять то, что делают высшие люди, или объяснить то, что вы находите в их природе, если вы не признаете тот факт, что высшие люди - это просто переделанные дикари, лишь частично измененные".

Предупреждение профессора Ф. В. Ньюмана о том, что время для Гуманитарной лиги еще не пришло, в этой степени подтвердилось: если бы мы думали, что добьемся каких-либо значительных видимых изменений, мы были бы справедливо разочарованы. Но те, кто работает, не ожидая увидеть результаты, не могут быть разочарованы; они выходят за рамки неудач и могут даже добиться, как это сделали мы, небольшого и непредвиденного успеха. Таким образом, Лига была, в истинном смысле этого слова, Безнадежной Надеждой; то есть отрядом отважных первопроходцев, которые были совершенно свободны от "перспектив" и чьей прихотью было проложить путь, по которому другие могли бы в конечном итоге последовать.

Возможно, успех Лиги заключался не столько в том, что она делала, сколько в том, чего она *требовала*— не столько в отмене законопроекта о порке или отмене жестокого вида спорта, сколько в бесстрашном, логичном и непоколебимом утверждении четкого принципа гуманности, который применим как к людям, так и к нечеловеческим существам. В конце концов, не так уж важно, запрещена ли та или иная конкретная форма жестокости; важно то, что должно быть показано, что все формы жестокости несовместимы с прогрессом. Здесь, я рискну предположить, интеллектуальная и противоречивая сторона работы Лиги имела определенную ценность; поскольку, прежде чем могла быть построена новая система, необходимо было расчистить почву, а главным препятствием для гуманизма долгое время было очень широко распространенное презрение к тому, что известно как "сантименты", и идея о том, что гуманитарии - это бедный, слабый народ, над которым можно безнаказанно смеяться. Гуманитарная лига изменила все это; и немало напыщенных людей, столкнувшихся с ее принципами, вышли из нее с измененными взглядами и значительно расширенным опытом.

Я уже говорил о некоторых главных действующих лицах Лиги: на данный момент, возможно, уместно эпически перечислить имена и заслуги нескольких влиятельных союзников, которые время от времени оказывали нам свою помощь.

Философские труды мистера Герберта Спенсера были полностью проникнуты гуманным духом. Противник милитаризма, мстительных уголовных законов, телесных наказаний для молодежи,

жестоких видов спорта и вообще любых форм жестокости, он сделал столько же, сколько любой человек его поколения, для очеловечивания общественного мнения. Он охотно подписал мемориалы Гуманитарной лиги против Королевских борзых и Итонских биглей.

Доктор Альфред Р. Уоллес также был полностью согласен с нами, и его особенно заинтересовал наш протест против законов игры, “этих отвратительных механизмов угнетения и эгоизма”, как он описал их в одном из нескольких писем, которые я получил от него. Он был озабочен тем, чтобы нашелся какой-нибудь член парламента, который внес бы ежегодную резолюцию об отмене этих законов, и он считал, что такое предложение “послужило бы очень хорошей проверкой либерализма и радикализма”. Ссылаясь на порку в соответствии со старым Законом о бродяжничестве, он писал: “Существуют десятки или сотни таких старых законов, которые позорят цивилизацию. Много лет назад я выступал за принятие закона об автоматическом прекращении действия всех законов, скажем, через пятьдесят лет, на том основании, что одно поколение не может должным образом издавать законы для следующего при совершенно других условиях”.

“Правда о законах игры”, брошюра, которую доктор Уоллес выразил большое одобрение, была написана мистером Дж. Коннеллом, автором книги “Красный флаг”, чьи демократические инстинкты привели его к получению из первых рук сведений о ночных привычках егерьей, и предварялась несколькими энергичными замечаниями мистера Роберта Бьюкенена, который, будучи на протяжении многих лет приверженцем спорта, здесь занял, как он сам выразился, “позицию обращенного клоуна, который осуждает все шиворот-навыворот”. Гуманные симпатии Бьюкенена проявились во многих его стихотворениях, например, в его “Песне морского котика”, вдохновленной одним из памфлетов Лиги; он написал также мощную статью о “Законе детоубийства”, относящуюся к одному из тех жестоких случаев, когда смертный приговор выносится какой-то бедной расстроенной девушке, и которые ясно демонстрируют, как указал Бьюкенен, что “мы все еще дикий и нецивилизованный народ, способный и желающий скосить артиллерией такие подчиненные расы, которые не соответствуют нашему образу мышления”. , но совершенно слеп и безразличен к горестям слабых и страданиям бедняков-мучеников”.

Джордж Мередит последние десять или двенадцать лет своей жизни был другом и сторонником Лиги. “По одному-двум пунктам вашей адвокатуры, ” написал он мне, “ я не согласен с вами, но полностью согласен с большинством”. Он объявил стальной капкан “одним из самых злодейских преступлений против человечности”; и он не раз подписывал памятные знаки Лиги против таких ложных видов спорта, как бег на кроликов и охота на оленей. Когда Королевские борзые были упразднены в 1891 году, он написал нам: “Ваши усилия были вознаграждены, и это побудит вас продолжать их во всех областях, где доброе дело спорта или любое другое доброе дело должно быть очищено от крови и жестокости. Итак, вы делаете первые шаги в нашей цивилизации”.

Мистер Томас Харди не раз подписывался под петициями Лиги и признавал, что при решении проблемы прав животных она сталкивается с вопросом “равной справедливости во всех отношениях”. В чрезвычайно интересном письме, зачитанном на ежегодном собрании в 1910 году, он выразил свое мнение о том, что “пока, по-видимому, мало кто полностью осознал, что наиболее далеко идущее следствие установления общего происхождения всех видов является этическим; что оно логически предполагает корректировку альтруистической морали путем

расширения, в качестве необходимости справедливости, применения того, что было названо Золотым правилом, с области простого человечества на область всего животного царства”. Это, конечно, было главным утверждением Гуманитарной лиги.

В 1896 году Лига обратилась с призывом к ряду ведущих художников, прося их ясно дать понять, что их симпатии на стороне гуманизма и что они, по крайней мере, не будут пособниками того духа жестокости, который является союзником и спутником уродства. Было получено очень мало ответов, но среди них был один от мистера Г. Ф. Уоттса, который, став членом клуба, написал нам письмо о жестокости обрезания лошадиных хвостов (“варварское для тех, кто это практикует, бесконечно унижительное для тех, кто поощряет это из таких низменных побуждений, как мода, — но не достойное презрения, потому что это гораздо хуже”), которое было очень широко опубликовано в прессе и оказало большую услугу в опорочении одиозной моды. Мистер Уолтер Крейн был еще одним художником, который во многих случаях поддерживал гуманитарные принципы; таким же был и мистер Мартин Андерсон (“Циник”), который использовал от имени Лиги свои великие способности сатирика в карикатуре, критикующей охоту на ручного оленя.

Граф Толстой, само собой разумеется, был полностью солидарен с нами; так же как и этот многогранный гениальный человек, г-н Элизе Реклю. Известный как географ, философ и революционер, его так и подмывает охарактеризовать словом “поэт”; ибо, хотя он и не писал стихами, он был великим мастером языка, непревзойденным по ясности мысли и безмятежной красоте стиля. Он был вегетарианцем, и основы его веры изложены в ярком эссе на эту тему, которое он написал для Гуманитарной лиги. Очень прекрасна также его статья “Великое родство”, достойно переведенная Эдвардом Карпентером, в которой он изобразил первобытные дружеские отношения человечества с низшими расами и заглянул в еще более удивительные возможности будущего. Его анархистские взгляды помешали ему официально вступить в ассоциацию, целью которой была законодательная деятельность; но его помощь всегда оказывалась бесплатно. “Я посылаю вам свою небольшую подписку, - писал он, - без каких-либо обязательств на будущее, не зная заранее, останусь ли я в следующем году без гроша в кармане или нет”. Я только однажды видел Элизе Реклю; это было по случаю собрания анархистов, в котором он принимал участие, и тогда он произвел на меня впечатление Величественного Старика, которому нет равных; никогда больше я не видел такой великолепной энергии и энтузиазма в сочетании с такими высокими интеллектуальными способностями.

Эрнест Кросби, еще один философ-анархист, был, пожалуй, столь же малоизвестен, несмотря на свои великие заслуги, как и любой писатель нашего времени. Избранный как республиканец в Ассамблею штата Нью-Йорк, он был назначен в 1889 году судьей Международного суда в Египте; но, прослужив там пять лет, вся его жизнь внезапно изменилась, во многом благодаря книге Толстого, которая попала ему в руки: он подал в отставку со своего поста и с тех пор не судил никого, кроме самого себя. Поэт и мыслитель высокого уровня, он с неизменным мужеством противостоял грубой силе “империализма” во всех его формах — эксплуатации одной расы другой расой, одного класса другим классом, низших животных человечеством. Странно, что его сочинения, особенно том, озаглавленный *“Мечи и орала”*, почти неизвестны английским демократам, поскольку в них есть много стихотворений, которые соответствуют очень высоким стандартам художественного мастерства, и несколько стихотворных жемчужин. “Песня тирана”, например, в нескольких строках выражает силу несопротивляющегося и

отказывающегося от военной службы по соображениям совести (“человек со скрещенными руками”); однако за все время долгих споров на эту тему я ни разу не видел, чтобы ее цитировали или упоминали. Поверхностное сходство между нерифмованными стихами Кросби и Эдварда Карпентера привело в одном случае к странной ошибке со стороны американского друга, которому я напрасно хвалил сочинения Карпентера; ибо в своей радости по поводу *мечей и орал* он опрометчиво пришел к выводу, что “Эрнест Кросби” был *псевдонимом* другого Е.С. “Я должен вам признаться”, - написал он. “До сих пор я не мог найти в Карпентере ничего, что подтверждало бы ваше восхищение им; но *теперь* поток света проливает свет на его *путь к демократии*”. Я сообщил об этом открытии заинтересованным поэтам, и они оба были очарованы им.

Кросби был высоким красивым мужчиной, почти военной наружности, и это тоже было причиной неправильного понимания; ибо друг-англичанин, которого он навещал и который знал его только по его произведениям, провел с ним долгий день, даже не обнаружив, что это тот Кросби, стихами которого он восхищался.

Кларенс Дэрроу, шурин Говарда Мура и друг Кросби, был еще одним нашим американским товарищем. Однажды днем он неожиданно появился в офисе Лиги с рекомендательным письмом от Кросби. Часто бывает трудно понять, что делать с такими письмами в присутствии их предъявителя — заставлять ли его ждать, пока послание будет расшифровано, или приветствовать его, не зная полностью, кто он такой, — но в этом случае мне было достаточно одного взгляда на первые три слова Кросби, потому что я увидел: “Это Дэрроу”, и я понял, что Дэрроу был автором “Преступления и преступники”, совершенно восхитительной лекции, наполненной юмором и человечностью, которая была прочитана заключенным окружной тюрьмы Чикаго; и я слышал о нем от других людей. Кросби как блестящий и успешный адвокат, посвятивший свой гений не погоне за богатством или славой, а делу бедных и обвиняемых. Это *был* Дэрроу; и когда я взглянул в лицо, в котором чудесным образом сочетались сила и нежность, формальности первого знакомства, казалось, были милосердно забыты, и я почувствовал себя так, словно знал его много лет. С тех пор Дэрроу стал широко известен в Америке благодаря своим выступлениям в Хейвудском и других судебных процессах по трудовым спорам, а совсем недавно - в деле Макнамары. Он автор нескольких очень замечательных работ. Его “*Фармингтон*” - увлекательная книга воспоминаний и “*Око за око*” - самая впечатляющая история, когда-либо написанная на тему смертной казни.

Позвольте мне теперь перейти к совсем другому подборнику нашего дела. В связи с *Humanitarian, Humanary Review* и публикациями Лиги в целом я получил несколько писем от “Уиды”, написанных в основном на той колоссальной бумаге для заметок, которая требовалась ее почерку, некоторые из них были такими большими, что проще всего было их прочитать, приколов к стене, а затем отойти в сторону, как с картинки. Ее широкая и неистовая натура проявлялась не только в страстных формулировках этих протестов против различного рода жестокости, но и в ее странных ошибках в деталях и в великолепной небрежности, с которой конверты часто были надписаны. Одну много путешествовавшую обертку, неправильно адресованную и испещренную почтовыми штемпелями и пометками крест-накрест, я сохранил как образец ужасных испытаний, которым она подвергла проницательность Почтового ведомства.

Уиду часто описывали как “фанатичную”; но хотя ее взгляды, безусловно, излагались в довольно неопределенных выражениях, я находил ее разумной, когда указывали на какую-либо ошибку или преувеличение. Ее искренность не вызывала сомнений; снова и снова она помогала нам своим пером, и поскольку пресса охотно принимала ее письма, она была ценным союзником, хотя во всем, что она писала, сквозил тот пессимистический тон, которым было отмечено все ее отношение к современной жизни. Каким бы ни было ее место в литературе, она была другом угнетенных и ненавистницей угнетения, и ее имя заслуживает того, чтобы его с благодарностью вспоминали за пламенные слова, которые она произносила от имени тех, кто не мог говорить сам за себя.

Гуманитарная лига всегда гордилась тем, что ее принципы были достаточно широкими, чтобы заручиться поддержкой вдумчивых и чувствующих людей, невзирая на различия в характерах или мнениях по другим предметам. Поразительный пример такой католицизма был замечен в том случае, когда преподобный Хью Прайс Хьюз читал перед Лигой лекцию об отношении неконформистов к гуманизму, и мистер Г. В. Фут, редактор *Freethinker* и президент Национального светского общества, присутствовал в аудитории; поскольку мистер Прайс Хьюз и мистер Фут были вовлечены в очень ожесточенный личный спор по поводу предполагаемого обращения некоего “сапожника-атеиста”. Когда мистер Фут поднялся, чтобы принять участие в дискуссии, я заметил внезапное выражение озабоченности на лице лектора, когда он прошептал мне: “Это мистер Фут?”, несомненно, ожидая возобновления вражды; но на нейтральной, или, скорее, универсальной почве гуманизма, вражды быть не могло; и вопросы, относящиеся к теме лекции, вежливо задавались противниками, которые, какими бы резкими ни были разногласия по другим вопросам, были едины в своей человечности.

Оглядываясь назад на большой период работы Лиги, я не могу вспомнить никого, кто давал нам более постоянные доказательства дружбы, чем мистер Фут; и его свидетельство было тем более желанным из-за очень высоких и редких интеллектуальных способностей, которыми он обладал. Немногие люди его времени сочетали в равной степени такие дары ума и сердца. Я не слышал ни одного публичного оратора, который обладал бы способностью так прямо переходить к сути предмета — как бы возвращать вниманию аудитории то, что Джуэл называла “точкой зрения”, на которой, как предполагается, сосредоточены все, но которая, похоже, с такой фатальной вероятностью может быть упущена. Слушать его выступления всегда было интеллектуальным удовольствием; и хотя из-за религиозных предрассудков его общественная репутация мыслителя и писателя была абсурдно ниже его заслуг, он пользовался уважением Джорджа Мередита и других компетентных судей и восторженной поддержкой своих последователей. Все социальные реформаторы, признают они это или нет, в долгу перед такими иконоборцами, как Брэдли и Фут, которые сделали возможной свободу слова там, где раньше это было едва ли возможно.

Мистер Пассмор Эдвардс, известный филантроп, был еще одним нашим сторонником; действительно, однажды он косвенно, через друга, предложил избрать его президентом Лиги; но мы не приняли это предложение, потому что, хотя мы ценили его признательность, мы стремились держаться подальше от всех церемонных титулов и “подставных лиц”, которые могли бы поставить под угрозу нашу свободу действий. Возможно, также, нас немного задело бесхитростное замечание, которое мистер Эдвардс сделал преподобному Дж. Стрэттону, который был с ним лично близок: “Лига должна заниматься мелочами, мистер Стрэттон. Оставьте великие дела мне”. Тем не менее, мистер Эдвардс оставался в самых дружеских

отношениях с Лигой; и когда зритель поселения Пассмор Эдвардс коротко попросил нас больше не присылать ему наших “циркуляров”, мистер Эдвардс выразил свое удивление и сожаление и добавил следующие слова: “Если Поселение Пассмор Эдвардс принесет столько же пользы [как Гуманитарная лига] пропорционально имеющимся в его распоряжении средствам, я буду полностью удовлетворен”.

Я не должен оставить без внимания еще двух друзей. Восхитительная история мистера У. Дж. Стиллмена о его ручных белках, *Билли и Гансе*, была самой примечательной из множества очаровательных вещей, написанных им в похвалу той человечности, которая для него была тождественна религии. Экземпляр книги, которую он мне подарил и которую я считаю одним из своих сокровищ, имеет следы того, что ее обгрызли на обложке. “Подпись моих белочек”, - написал там мистер Стиллман. Я не ценю автографов больше, чем Билли или Ганса.

Мистер Р. В. Трин часто посещал Лигу, когда был в Лондоне. У него была экстраординарная способность излагать непопулярные истины в форме, приемлемой для публики; и его книга *"Каждое живое существо"*, которая была практически трактатом Лиги гуманистов в новом обличье, получила широкое распространение. Мистер Трин много лет назад попросил меня порекомендовать его лондонскому издателю с целью английского издания его книги *"В гармонии с бесконечным"*; и я подшучиваю над моим другом мистером Эрнестом Беллом, что, когда я упомянул об этом предложении, он сначала выглядел серьезным и сомневающимся. В конце концов он договорился с мистером Трином, и я не думаю, что у его фирмы были причины сожалеть об этом, поскольку книга разошлась сотнями тысяч экземпляров.

Было сказано достаточно, чтобы показать, что гуманитарное движение не испытывало недостатка в способных советчиках и союзниках; и было немало других, о ком следовало бы упомянуть подробнее, если бы эта книга была историей Лиги. Поддержка таких друзей, как мистер Эдвард Карпентер, мистер Бернард Шоу, миссис Безант, мистер У. Х. Хадсон и мистер Герберт Берроуз, считалась само собой разумеющейся. Сэр Сидней Оливье, выдающийся в равной степени как мыслитель и администратор, одно время был членом Комитета; аналогичную должность много лет занимал капитан Альфред Карпентер, Р.Н. Даже старые итонцы не были неизвестны в наших рядах. Мистер Голдвин Смит отдал должное справедливости наших протестов как против вивисекции, так и против итонской охоты на зайцев, как можно видеть из двух писем, которые он написал мне, теперь включенных в его опубликованную переписку. В лице сэра Джорджа Гринвуда наш Комитет на протяжении многих лет имел защитника как в парламенте, так и в прессе, чья широкая ученость, вооруженная острым, как шпага, юмором, заставила многих догматичных оппонентов пожалеть о своем вступлении в бой. Читателям этой тонко аргументированной книги *"Вера агностика"* не нужно объяснять, что философия ее автора - это не просто негативное кредо, но такое, которое с этической стороны находит выражение в самых настоящих гуманитарных чувствах.

Принадлежащие к молодому поколению, мистер и миссис Дуглас Дьючар были одними из самых ценных “открытий” Лиги: я полагаю, реформаторское общество редко пользовалось помощью более талантливой пары писателей. Мистер Дьючар обладает подлинным стихотворным даром, который, если его развивать, должен занять высокое место среди современных поэтов: если о Шелли написано что-то более тонкое и разборчивое, чем его сонет, впервые напечатанный в *Humane Review*, я этого не знаю; а в его небольшом сборнике стихов *"Шут по соседству"*, опубликованный под замаскированным названием, есть и другие вещи,

не менее хорошие. Миссис Дьючар в роли мисс М. Литтл заслужила признание как романист большой силы и проницательности: она тоже часто публиковалась в "*Humane Review* и "*Humanitarian*".

The "*Гуманное обозрение*", о котором неоднократно упоминалось на предыдущих страницах, был ежеквартальным журналом, издававшимся мистером Эрнестом Беллом и редактировавшимся мной в течение первого десятилетия века. Он был независим от Гуманитарной лиги, но был очень полезен как орган, в котором различные темы, которыми занималась Лига, могли обсуждаться более полно, чем это было возможно в кратком объеме ее журнала. Список авторов *Обзора* включал имена многих известных писателей; и если бы гуманитарии в достаточной степени заботились о своей литературе, у нее была бы более долгая жизнь: то, что она просуществовала десять лет, объясняется тем фактом, что ее очень щедро поддерживали два замечательных друга нашего дела, мистер и миссис Атертон Кертис.

Сама Гуманитарная лига напоминала *Humanary Review* в том, что ее обычного дохода никогда не хватало для покрытия ежегодных расходов, и если бы не специальные пожертвования нескольких ее членов, в частности мистера Эрнеста Белла, и несколько долгожданных подарков, ее карьера завершилась бы задолго до 1919 года. Лига закончилась, как и началась, в своем характере Безнадежной надежды. У нас была добрая воля фрилансеров, а не общественности или профессий. Я уже упоминал, как художники, за одним или двумя важными исключениями, стояли в стороне от того, что они, несомненно, считали назойливой агитацией; литераторы, даже те, кто соглашался с нами, часто боялись прослыть "гуманистами"; школьные учителя косо смотрели на общество, осуждавшее трость; а религиозные люди были обеспокоены тем, что мы не начинали наши собрания с молитвы (как это было модно четверть века назад), и потому что в нашем журнале не было прочитано ни одной из обычных пиетистских фраз. От духовенства мы получили мало одобрения; хотя были некоторые из них, которые не колеблясь говорили лично декану Китчину, что Лига "воплощает в жизнь лучшую сторону жизни и учения нашего Спасителя". Мистер Прайс Хьюз, в частности, был самым смелым в своей поддержке этики, которая не нашла одобрения у его единомышленников. Архиепископ Темпл и некоторые лидеры религиозного мнения лично подписали наши мемориалы против жестокого спорта; а епископ Херефордский (доктор Персиваль) представил наш фальшивый законопроект о спорте в Палате лордов; однако от церковников наше дело не получило сочувствия, и многие из них были настроены против него.

Во многих протестах против жестокости в ее различных формах, будь то судебные пытки, или вивисекция, или бойня, или кровавый спорт, звучит укоризненный крик: "Где духовенство?" этот вопрос часто поднимался, но поднимался теми, кто в каждом случае забывал, что не было ничего нового в неспособности организованной религии помочь делу освобождения.

Я хочу быть справедливым в этом вопросе. По долгому опыту работы в непопулярном деле я хорошо знаю, что человечность не является атрибутом какой-то одной секты или вероучения, будь то положительное или отрицательное, религиозное или светское; она зарождается в сердцах самых разных людей во всех местах, не подчиняясь ни одному известному нам в настоящее время закону. В каждую эпоху были люди, чья религия была идентична их человечности; такие люди, как истинный святой Джон Вулман, чьим даром, как было хорошо сказано, была любовь. Святой Франциск - любимый пример такого типа; но каким бы милым и милосердным он ни был, с его обращениями к "брату волку" и "сестре ласточке", его пример,

возможно, несколько пострадал из-за слишком частых цитат, что вызывает подозрение, что Церковь так постоянно использует его, потому что ее выбор весьма ограничен. Менее известна, но более впечатляющая история, рассказанная Гиббоном, об азиатском монахе Телемахе (404 г. н.э.), который, посмеив прервать гладиаторские представления, выйдя на арену, чтобы разнять сражающихся, был сбит с ног градом камней. “Но безумие народа скоро улеглось; они чтити память Телемаха, заслужившего почести мученичества, и безропотно подчинились законам, которые навсегда отменили человеческие жертвоприношения в амфитеатре”. Комментарий Гиббона звучит следующим образом: “И все же ни одна церковь не была посвящена, ни один алтарь не был воздвигнут единственному монаху, принявшему мученическую смерть за дело человечества”.

Религия никогда не поддерживала дело гуманности. Ее чудовищная доктрина о вечном наказании и пытках проклятых лежит в основе большей части варварства, с которым человек обращался с людьми; и глубокое разделение, воображаемое Церковью между человеком с его бессмертной душой и бездушными “животными”, стало причиной неисчислимой жестокости.

Я знал католического священника с высокой репутацией, который оправдывал испанские бои быков тем, что они служат предохранительным клапаном для диких инстинктов людей; их варварство выливается на быка и делает их мягкими и незлобивыми в домашних отношениях. По сути, это повторение истории о козле отпущения; только жертва - не козел отпущения, и ему не удастся сбежать. Повсюду среди религиозных людей, за исключением нескольких индивидуумов, можно встретить стойкое неверие в родство всей разумной жизни: именно религиозные, а не еретики являются истинными неверующими. Несколько лет назад епископ Оксфорда отказался санкционировать молитву за животных, потому что “в обычае Церкви никогда не было молиться за каких-либо других существ, кроме тех, которых мы считаем разумными”.

Преподобный Г. Осли, старик, сердце и душа которого были посвящены облегчению участи животных, рассказал мне, что однажды он обратился ко всем служителям религии в большом городе на южном побережье в надежде убедить их не одобрять жестокое обращение с кошками. Он не встретил особого одобрения, и один из священников, к которым он обратился, самый влиятельный в этом месте, прямо высмеял это предложение. “Нельзя швырнуть кошкучерез всю комнату, - сказал он, - без того, чтобы какая-нибудь пожилая женщина не подняла из-за этого шума”. Единственным комментарием мистера Осли, когда он повторил это замечание, было: “Христианский священник!”

Ниже приводится выдержка из письма, написанного в Иерусалим моим другом мистером Филипом Г. Пибоди, который много путешествовал и был самым внимательным наблюдателем за обращением с животными, особенно с лошадьми, в различных странах, которые он посетил:

“Когда я размышляю о том, что на протяжении веков и со всех концов света сюда приезжали и продолжают приезжать самые ревностные христиане; что часто они остаются здесь до самой смерти; что десятки великих церквей здесь переполнены тысячами благочестивых; и что ни одно человеческое существо из них, насколько я могу видеть или узнать, не имеет ни малейшего отношения к жестокостям, происходящим сотни раз в день, настолько ужасным, что самый бессердечный негодяй в Бостоне с негодованием протестовал бы против них — что я

должен думать о ценности христианства в том, что оно делает людей добрыми, нежными, и добрый?”

Это мнение, по-видимому, подтверждается мнением декана Инге, который описал человека как “кровожадного дикаря, мало изменившегося со времен первого каменного века”. К сожалению, Мрачный декан, чьи пророческие высказывания так ценятся журналистами как дающие превосходный материал для “копирования”, сам не проявляет никакого сочувствия к тем, кто пытается смягчить дикость, о которой он сожалеет и которую его религия не смогла исправить.

Пожалуй, нельзя было найти лучшего критерия цивилизованности народа, чем способ проведения их религиозных праздников. Как насчет нашего Рождества — времени, когда мир и добрая воля принимают форму всеобщей резни, за которой следует всеобщее обжорство, с результатами, не намного менее фатальными для тех, кто устраивает веселье, чем для их жертв? Можно было бы подумать, что порядочного каннибала должно отвращать зрелище живого скота, откармливаемого для ножа, и тысячи отвратительных туш, развешанных в мясных лавках; но, напротив, это зрелище повсюду рассматривается как добродушное и праздничное. Протесты, с которыми Гуманитарная лига обычно обращалась в письмах к священнослужителям и другим влиятельным лицам, почти не встречали отклика; иногда репортер благочестиво отстаивал священный сезон, как это однажды сделал “Дагонет” в *"Реферу"*: “Мы, конечно, с определенной точки зрения, варвары, забивающие животных для банкета. Зрелище обезглавленных животных, подвешенных на крюках и истекающих кровью, не эстетично. Но природа варвара в своих методах, и это закон природы, согласно которому одна группа живых существ должна питаться другой группой живых существ. Убивать и есть - естественный инстинкт. Осуждать это как бесчеловечное не только абсурдно, но и в некотором смысле нечестиво”. Будет видно, что благочестие и секира идут рука об руку в праздновании христианских сатурналий.

Рождество бывает только раз в году:
Пусть это смягчит нашу тоску!
Ибо кто смог бы пережить этот сезон унылого
фальшивого веселья и кровавых утех,
Если бы это случалось чаще?

Таким образом, от религии как таковой Лига ничего не ожидала и ничего не получила; но следует признать, что ее неспособность получить какую-либо существенную помощь от Рабочего движения была своего рода разочарованием; ибо, хотя немало лидеров, таких как Кир Харди, Дж. Р. Клайнс, Дж. Р. Макдональд, Брюс Гласье и Джордж Лэнсбери, были хорошими друзьями нашего дела, партия в целом проявляла мало интереса к реформам, которые мы отстаивали, даже в вопросах, которые особенно касались рабочих классов, таких как Закон о бродяжничестве, законы об играх и использование оружия. трость в пансионатах. Что касается нелюдей, любопытен факт, что в то время как Национальное светское общество включает в число своих непосредственных практических целей более гуманное обращение с животными и их правовую защиту от жестокого обращения, Рабочее движение, подобно Церквам, не

позаботилось расширить свой кругозор даже до такой степени, чтобы потребовать улучшения условий для более высокоорганизованных домашних животных.

Я часто думал, что карикатура Уолтера Крейна “Триумф труда” имеет глубокий эзотерический смысл, хотя, возможно, и не предполагался ее автором. Каждый социалист знает эту картину — первомайское шествие, в котором несколько рабочих едут на праздник в большой повозке, храбро размахивая флагами и транспарантами и поддерживая над собой поднятыми ладонями тяжеловесный глобус, на котором написано “Солидарность труда”, - вся группа запряжена двумя крепкими быками, настоящими героями сцены, которые, должно быть, хотели бы, чтобы солидарность труда была немного менее прочной, ибо, по-видимому, этих беспечных весельчаков следовало бы привлечь к ответственности за перегрузку их верных друзей. . “Триумф труда” кажется подходящим названием для сцены, но в том смысле, который демократам не мешало бы принять близко к сердцу. Разве лошади и другие “вьючные животные” не заслуживают своей доли гражданства? Возможно, столетия спустя какой-нибудь ученый антиквар реконструирует по таким анатомическим данным, какие только удастся раздобыть, тощую, бесформенную, жалкую фигуру нашей ныне исчезающей извозчицкой лошади, и более цивилизованные потомки содрогнутся при виде того, что мы все еще считаем законным средством передвижения.

Таким, таким образом, было положение нашей Бездарной Надежды в те годы, когда угроза Армагеддона надвигалась все сильнее. Как и любой другой, гуманитарии недооцененный простор катастрофе, к которой мир дрейфовал; но некоторые, по крайней мере, видели безумие паникеры, которые упорно содействовали в их странах духу ненависти; и за пять лет до аварии вышел было отмечено, *вгуманитарной* что страшная война была, сознательно или бессознательно, целью и концом резонанса, который был поднят вопрос о нечестивых замыслах Германии, для сокрытия более важно то, что хуже нации враги сварливая или заинтересованных лиц в пределах собственных границ, который будет включать в себя два естественно дружественных народов в глупой и братоубийственной розни.

Из уроков англо-бурской войны мы слишком хорошо знали, что за люди были некоторые из них, которые, сами без малейшего намерения сражаться, разжигали такие воинственные страсти в Желтой прессе. В то время я был знаком с некоторыми из них и не забыл, как, встретив одного из таких зачинщиков, я с удивлением заметил, что он пожелтел лицом, а также поведением журналиста, его щеки приобрели охристый оттенок с тех пор, как я видел его день или два назад. Он доверил мне свой секрет. Когда-то он записался в армию и, будучи, как он предполагал, демобилизованным, был ошеломлен, получив уведомление вернуться в свой полк. И вот он сидел, размышляя, как ему ответить на призыв своей страны, действительно желтому журналисту: в тот день я увидел его в истинном свете.

Но даже при этом, хотя мы подозревали, что в преддверии крупного извержения, что заниматься нашей гуманитарной работой - значит всего лишь возделывать склоны вулкана, мы совершенно не предполагали масштабов надвигающейся катастрофы. Мы опасались, что это могло бы привести к возврату к этике, скажем, средневековья; врожденная дикость наших соотечественников практиковалась бы гораздо более открыто - вот и все. Они были бы похожи на труппу обезьян, которые, будучи обучены проходить свое представление с серьезным и степенным видом, внезапно, после того как в них бросили горсть орехов, погрузились во все присущее им беззаконие. Чего мы *не* ожидали — того самого, что произошло, — так это того,

что атавизм, вызванный таким конфликтом, выявит гораздо больше инстинктов аборигенов, чем те, что были несколько веков назад; что не средневековый человек был вызван из необъятных глубин, а доисторический троглодит, или Пещерный человек, который, отнюдь не вымер, как наивно предполагалось, все еще выжил в каждом из нас, ожидая своего шанса на воскрешение.

XV

ПЕЩЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК ВОЗРОЖДАЕТСЯ

Сейчас я осматриваю его,
Более свирепого, чем любой призрак его вида,
Который когда-либо бодался со своим грубым братом-скотиной
Из-за похоти, жажды крови или добычи.
Теннисон.

Среди зоологов ведутся споры о том, могут ли в болотах и лесах Центральной Африки все еще таиться какой-нибудь выживший динозавр или бронтозавр, гигантское драконоподобное чудовище, наполовину слон, наполовину рептилия, реликт давно ушедшей эпохи. Мысль волнующая, хотя надежда, вероятно, обречена на разочарование. Что более определенно, так это то, что не менее удивительные чудеса могут быть изучены теми натуралистами, у которых есть глаза, чтобы увидеть их, гораздо ближе к дому; ибо, хотя Африку действительно называют чудесным музеем, она не может сравниться в этом отношении с человеческим разумом, хранилищем, которое все еще кишит грифонами и горгонами, кентаврами и химерами, не менее реальными оттого, что они не являются созданиями из плоти и крови. Две тысячи лет назад римский поэт Лукреций показал, что смертным следует опасаться не таких легендарных вредителей, как немейский лев, аркадский вепрь или критский бык, а гораздо более ужасных монстров, обитающих в разуме. Подобным образом, именно из каких-то скрытых душевных тайников возник тот незапамятный дикарь, Пещерный человек, которого, освобожденного великими потрясениями войны, во многих случаях видели многие очевидцы во время пятилетнего карнавала Ненависти.^[41]

Возможно, когда-нибудь будет написана подлинная история войны, и тогда станет ясно, как этот конфликт стал практически неизбежным из-за амбициозных планов и махинаций не одной империи, а нескольких; из-за накопления огромных вооружений под предлогом обеспечения мира; из-за жадности коммерсантов; и из-за духа зависти и подозрительности, намеренно созданных безрассудными ораторами и писателями с обеих сторон; более того, как, когда разразился кризис, рабочие классы всех заинтересованных стран были обмануты и втянуты в соревнование. что, несомненно, в любом случае было губительно для их интересов. Затем, когда пламя разгорелось, в этой стране последовала хитроумная разработка принудительной военной службы, ставшая возможной благодаря предыдущему Закону о регистрации (замаскированному под предлогом совершенно иной цели) и ряду иллюзорных обязательств и обещаний защиты лиц, отказывающихся от участия в войне по соображениям совести. Вся история, правдиво рассказанная, будет долгой хроникой насилия и обмана, маскирующихся под “патриотизм”; но то, что меня здесь интересует, - это не столько сама война, сколько жестокий дух ненависти и преследований, который породила война.

В качестве единственного примера свирепости пещерного человека возьмем жестокое обращение с “вражескими пришельцами” со стороны некомбатантов, которые, сами не подвергая себя личному риску, обратили свою бессмысленную злобу против беспомощных иностранцев, которые имели все права на защиту щедрой нации. “Это проклятая раса”, - сказал типичный оратор на одном из собраний, проходивших в Лондоне. - Интернируйте их всех, или, вернее, опустите *n*, и интернируйте их всех. Пусть название ‘немецкий’ передастся потомкам и будет известно историку как все, что было звериным, проклятым и отвратительным”. Это были бы слова преступного безумия — ни больше ни меньше — в устах цивилизованных существ, но это всего лишь примеры того, что говорилось по бесчисленным поводам в каждой части нашей страны. Огромные массы англичан в то время находились в более низком психическом состоянии, чем жители отдаленных племен, которых мы считаем бушменами и каннибалами.

Возможно, самой любопытной чертой этой оргии патриотической ненависти была ее искусственная природа: она процветала дома, а не на фронте; и если бы те, кто предавался ей, были достаточно вменяемы, чтобы с пониманием относиться даже к военным новостям, они нашли бы там достаточно доказательств своим обвинениям. Полдюжины строк из одного из описаний мистера Филипа Гиббса посрамили бы их бред. “Некоторым из них [раненых англичан] пленные немцы помогли спуститься, и было странно видеть, как один из наших мужчин обвивает руками шею двух немцев. Раненые немцы, которым помогали спуститься наши люди, пострадавшие меньше, чем они, шли точно так же, обняв наших людей за шею; а иногда английский солдат и немецкий солдат шли очень медленно, рука об руку, как старые закадычные друзья”. Не так уж много патриотической ненавиститам.

И, конечно, не только раненые, товарищи по несчастью, забывали таким образом о своей вражде; ибо практика “братания” распространилась до такой степени в первое Рождество войны, что впоследствии была запрещена. “Они дали нам сигары, сигареты и ириски, - писал английский солдат, принимавший участие в этих переговорах с проклятой расой, - и они сказали нам, что не хотят воевать, но вынуждены. Мы пробыли с ними около часа, и офицеры ничего не могли понять”. К этому военный корреспондент добавляет: “Среди французских солдат больше озлобления против немцев, чем среди британцев, которые, как правило, вообще не проявляют озлобления, но общий дух французской армии гораздо менее ожесточенный, чем у многих гражданских лиц”. Интересный психологический факт заключается в том, что именно гражданские лица, бездельники, превратили Ненависть в культ.

И какая же это была жалкая зараза! О подлинной ненависти, по крайней мере, можно что-то сказать; но эта фальшивая искусственная злоба, придуманная желтыми журналистами и поощряемая правительственными плакатами, была всего лишь словесным ядовитым газом, веществом, не имеющим содержания, но обладающим способностью развращать и извращать умы всех, кто поддавался ей. Мужчины спорили, как в басне Эзопа, не из-за осла, а из-за тени осла. Их спор был, по словам Кольриджа:

Дикая и сказочная торговля кровью и коварством,
Слишком глупая для слез, слишком порочная для улыбки.

И все же было трудно не улыбнуться этому. Ниагара бессмыслицы, которую выпустила война — война, которая должна была “заставить людей задуматься”, — была почти столь же смехотворной, сколь трагичной была сама война; и сатирики[42] были такие, кто, подобно

Ювеналу, сочли невозможным сохранить серьезное выражение лица при такой провокации. В будущем, без сомнения, улыбки и слезы будут свободно смешиваться, когда потомки поймут, например, какую трагикомическую роль сыграл “клочок бумаги”, эта эмблема национальной приверженности обязательствам чести; забота, испытываемая большими нациями об интересах меньших; или оправдание последней войны как “войны ради прекращения войны”. [43] Какое огромное количество материала также будет доступно для иллюстрированной книги юмора, когда какой-нибудь остряк будущего соберет и перепечатает серию официальных военных плакатов, включая, конечно, те, что печатались как реклама военных займов (“меланхоличная леди”, напоминающая, что “Старость должна прийти”, и остальные), и когда вспомнят, что эти удивительные нелепости действительно могут повлиять на публику! Как будто милитаризм сам по себе был недостаточно комичен, его восхвалители преуспели в том, чтобы сделать его еще более смешным своими карикатурами. Что же касается слепой доверчивости, вызванной военной лихорадкой, то легенда об Ангелах Монса останется в памяти на века.

Parturiunt mures, nascetur ridiculus Mons.

Эта доверчивость, как и благотворительность, начинается дома. Всякий раз, когда начинается война, много говорят о неискренности “вражеских” авторов; но софизмы, которые действительно опасны для каждой страны, являются софизмами местного происхождения — теми, которые таятся глубоко в умах ее собственного народа, готовые, когда того потребует время года, проявиться в том, что Сидни Смит назвал “полным расцветом их идиотизма”. Этот вопиющий принцип, *si vis pacem para bellum*, “Если вы хотите мира, готовьтесь к войне”, сейчас несколько дискредитирован; но он внес свою “лепту” в развязывание войны и после временной отставки, несомненно, будет выдвинут снова, когда обстоятельства станут более благоприятными. Возможно, это такое же глупое изречение, как и любое другое, придуманное по глупости человека. Представьте себе палату сумасшедших, которые, посадив своих надзирателей под замок, изменив положение, подобное тому, что описано в одном из фантастических рассказов По, должны приступить к охране мира, вооружившись кочергами и ножками от столов. На какое-то время это принятие принципа *para bellum* могло бы отложить военные действия; но даже сумасшедшие тратили бы время и самообладание, стоя в таком праздном строю, и несомненно, что рано или поздно этот сумасшедший дом осознал бы свой Армагеддон. Ибо возможность в долгосрочной перспективе порождает действие; и вложите ли вы кочергу в руку сумасшедшего или меч в руку солдата, результат в конечном итоге будет один и тот же.

Или, возможно, нам говорят, что война - это “великая естественная вспышка”, таинственная по своему происхождению, неподвластная контролю человека: кредо, выраженное в знаменитом утверждении Вордсворта о том, что резня - “Божья дочь”. Может ли какое-либо суеверие быть более грубым? В начале современных войн нет ничего таинственного или катастрофического. Антипатии и соперничество между нациями существуют, как и между отдельными людьми, и, конечно, если их лелеять, они вспыхнут ярким пламенем; но столь же верно и то, что если их мудро не принимать во внимание и подавлять, они в конце концов утихнут. Мы не оправдываем человека, который ссылается на свою ревность, свою страсть, свою жажду мести как на причину для совершения нападения, хотя личное преступление - это такая же “вспышка”, как и война. По-видимому, существует идея, что когда такие страсти существуют, им лучше “выйти наружу”. Напротив, единственная надежда человечества состоит в том, что такие дикие

пережиткине должны выйти наружу, но что “обезьяна и тигр” должны неуклонно подавляться до тех пор, пока они не вымрут.

Но “эта война была оправдана”. В каждой нации преобладает вера в то, что, хотя война в целом не одобряется, любое конкретное противостояние, в котором они могут участвовать, является праведным, неизбежным, одним из видов чистой самообороны, по их собственным словам, “навязанным нам”. Даже если бы это было правдой, в некоторых случаях, в прошлые годы, когда международные отношения были менее сложными, и когда две страны могли ссориться и “сражаться”, как школьники, не нанося какого-либо широкомасштабного ущерба другим, сейчас все совершенно по-другому; ибо бедствия, причиняемые современной войной, настолько велики, что это невозможно. Для всего мира вряд ли имеет значение, кто, по выражению школьника, “начал это”. Для ссоры нужны двое; и эти двое совместно несут ответственность за катастрофу, которую их ссора влечет за собой для человечества.

Чем больше вглядываешься в эти заблуждения о ведении боевых действий — а их множество, — тем больше убеждаешься, что дух, который главным образом лежит в основе тенденций к войне, помимо прямого стимула коммерческой жадности, является духом Страх. Ненависть более очевидна, но в основе ненависти лежит страх. Только этим можно объяснить чрезвычайную близорукость, с которой попирается всякая свобода, как слова, так и действий, когда однажды начинается война. В таких обстоятельствах общество в своей панической тревоге за собственную безопасность сразу же возвращается к тому, что можно назвать Этикой Стаи. Из всех абсурдных обвинений, выдвинутых против тех отказников от военной службы, которые отказывались пожертвовать своими собственными принципами ради идей патриотизма других людей, самым странным было обвинение в “трусости”; ибо, при всем уважении к вполне реальной физической храбрости тех, кто сражался, следует сказать, что наивысшее мужество, проявленное во время войны, было у людей, которых осуждали и высмеивали как малодушных. Это был момент, когда требовалось гораздо больше смелости, чтобы возразить, чем согласиться; один из тех кризисов, к которым применимы знаменитые строки Марвелла:

Когда меч сверкнет над головой судьи,
И страх заставит замолчать трусливых церковников,
Тогда наступает время поэта; вот тогда он обнажает оружие
И в одиночку сражается за дело оставленной добродетели.

Презируемый “Кончи” был, по правде говоря, героем и поэтом этого события.

Опять же, это должно быть вызвано, прежде всего, страхом, что по окончании войны победители, вместо того чтобы предложить щедрые условия — курс, который был бы, по крайней мере, в такой же степени выгоден им самим, как и побежденным, — выдвигают жесткие и разорительные условия, которые лишают их постоянного мира. Это они делают исходя из того, что Ли Хант называет

Сознание силы врагов,
На которых нужно давить, иначе они восстанут.

Именно это заставило немцев пятьдесят лет назад диктовать в Париже те позорные условия, которые теперь привели к их собственной гибели; и именно это заставило французов в час их победы повторить худшие ошибки своих врагов.

Мы всего лишь мир дикарей, иначе мы увидели бы, что как в международных, так и в личных делах великодушие гораздо могущественнее мести. За несколько лет до войны в *Daily News* появилась статья ее парижского корреспондента, покойного мистера Дж. Ф. Макдональда, которая даже в то время произвела большое впечатление и которая теперь, когда оглядываешься назад на ужасы войны, приобретает еще большее и более печальное значение. Он назвал это “Мечтой”. Он указал, что единственным препятствием на пути к дружественным отношениям между Францией и Германией и главной угрозой европейскому миру были потерянные провинции Эльзас-Лотарингия.

“За пятнадцать лет моего пребывания во Франции мне часто снился сон — такой дерзкий, такой донкихотский, такой поразительный, что я с трудом могу изложить его на бумаге. Дело было в том, что германский император вернул Франции провинции Эльзас-Лотарингия.... Какой трепет охватил весь мир, какое героическое и нетленное место в истории занял германский император, когда столетие Ватерлоо было отмечено великодушным, великолепным освобождением Эльзас-Лотарингии”.

Действительно, мечта, и из тех, что в настоящее время проносятся сквозь врата слоновой кости; но истинная мечта в том смысле, что она передает великий психологический факт, и из тех, которым еще предстоит осуществиться, если мы хотим, чтобы мир когда—нибудь стал подходящим местом для обитания цивилизованных существ — не говоря уже о “героях”.

Но давайте вернемся к реальности и к Пещерному Человеку. Какой бы иррациональной ни была Ненависть, вспыхнувшая во стольких сердцах, она, тем не менее, обладала силой растоптать ногами все человеческие принципы. Этот гориллоподобный лик, смотревший на нас с множества человеческих лиц, означал, что наше гуманитарное дело, если и не было убито или смертельно ранено духом войны, то, по крайней мере, было, выражаясь военным языком, “интернировано”. То, что мы защищали, было более благожелательным образом жизни по отношению как к нашим человеческим, так и к нашим нечеловеческим собратьям, и то, на что мы в основном полагались и стремились развить с помощью разума, был инстинкт сострадания, который не может равнодушно относиться к любым страданиям. Мы достигли той точки, когда определенное осуждение, каким бы неадекватным оно ни было, начало ощущаться в отношении определенных варварских обычаев; и хотя мы не могли утверждать, что сделали больше, чем обуздали свирепый дух жестокости, пришедший к нам из прошлого, было, по крайней мере, некоторым удовлетворением от того, что на него начали накладывать ограничения. Какой же результат тогда был неизбежен, когда на значительной территории мира все подобные этические ограничения были внезапно и полностью сняты, и человечеству было предложено глубоко проникнуться первобытной дикостью?

Какими бы ужасными ни были обиды, от которых приходится страдать бесчисленным человеческим существам, когда великие военные деспотии мечом устанавливают свой “баланс сил” и демонстрируют полное отсутствие душевного равновесия, еще более ужасны жестокости, которым подвергаются невинные нечеловеческие расы, судьба которых - быть вовлеченными в междоусобные битвы людей. Сообщалось, что в послании, адресованном немецкому народу, кайзер сказал: “Мы будем сопротивляться до последнего вздоха человека и

лошади”. Как будто лошадь могла наслаждаться удобствами “патриотизма”, а не была безжалостно принесена в жертву, как простая машина, ради ссоры, в которой она не имела ни жребия, ни участия! За день войны животным причиняется больше страданий, чем за год мира; и пока длится войны, напрасно предполагать, что можно обеспечить гуманное обращение с животными. Удивляются ли противники кровавых игр, бойни, вивисекции упорному продолжению этого зла? Пусть они подумают о том, что происходит (благословлено епископами) на войне, и им больше не нужно будет удивляться.

“ Собирают ли люди смоквы с чертополоха? Казалось, что некоторые из наших мудрецов ожидали, что мужчины поступят именно так, если судить по ожиданиям возрожденной Европы, которая должна была возникнуть после окончания войны! Мы уже видим тщету подобных пророчеств — превращения кровопролитной борьбы в основу идеалистических надежд. Не вся мудрость всех пророков может изменить тот факт, что подобное порождает подобное, что дикие методы увековечивают дикие методы, что зло не может быть подавлено злом, как и один вид милитаризма не может быть уничтожен другим видом милитаризма. Мы говорим, что ад вымощен благими намерениями; но те, кто предполагал, что верно обратное и что путь их благих намерений может быть вымощен адом, были прискорбно разочарованы этим событием.

Слишком легко и оптимистично ожидать, что “добро возникнет из зла”. Люди говорили так, как будто за Армагеддоном естественным образом последует тысячелетнее царство. Но история показывает, что современные войны приводят к периодам истощения и репрессий.

“Реконструкция” - фраза, которая сейчас очень популярна, но реконструкция - это не прогресс. Если две соседние семьи или несколько семей поссорятся и снесут дома друг у друга, то, безусловно, потребуется “реконструкция”; но пройдет много времени, прежде чем они станут жить хотя бы так же хорошо, как раньше. Так же и с нациями. Вопрос в том, оживляет ли война симпатии людей или притупляет их? В какой-то степени и те, и другие, в зависимости от разницы в их темпераментах; но следует опасаться, что те, кого опыт войны пробудил в ненависти к войне, составляют лишь небольшое меньшинство по сравнению с теми, кто стал более черствым.

Одним из серьезных препятствий на пути прекращения кровопролития является неисправимая сентиментальность, с которой человечество всегда относилось к войне. “Кто же это был, ” воскликнул поэт Тибулл, “ кто первый изобрел ужасный меч? Каким диким, каким поистине стальным сердцем он был!” Но, несомненно, упрек в меньшей степени заслужен древними варварами, у которых хватило изобретательности изобрести улучшенный метод уничтожения, чем так называемыми цивилизованными людьми, которые ради наживы продолжают подобные изобретения еще долго после того, как от них следовало отказаться. “Война - это ад”, - говорят люди и продолжают принимать ее как неизбежность. Но если война - это ад, то кто, кроме самих людей, является извергами, населяющими ее?

Подобным образом начало войны часто называют “рецидивом варварства”, но скорее это доказательство того, что мы вообще никогда не выходили из состояния варварства; и осознание этого факта - единственное рациональное утешение, которое можно найти, когда мы видим, как ведущие нации Европы вцепляются друг другу в глотки. Ибо, если бы сейчас был цивилизованный век, перспектива была бы безнадежной; но, видя, что мы не цивилизованны, что пока у нас есть лишь отдаленные проблески цивилизации, мы все еще можем верить в будущее. В настоящее время, рассматривая ужасные уроки войны, мы должны признать, что

рост более гуманных чувств был задержан на неопределенный срок. Мы не можем продвигаться одновременно по пути милитаризма и гуманизма: нам придется решить, по какому из двух расходящихся путей нам следовать, когда пройдет приступ дикости. И мораль войны для социальных реформаторов, возможно, будет такова: недостаточно только осуждать варварство войны, как это слишком часто делали наши пацифисты. Цивилизованный дух может быть развит только путем последовательного протеста против всех форм жестокости и угнетения; только культивируя всестороннее уважение к правам всех наших собратьев, мы избавимся от того наследия эгоистичной черствости, частью которого является милитаристская и империалистическая мания.[44]

Не пора ли нам отправить Пещерного Человека обратно в его логово - отныне оно должно стать его могилой — и навсегда похоронить тот адский дух Ненависти, который он принес с собой из преисподней?

XVI

ПОЭЗИЯ СМЕРТИ И ЛЮБВИ

А Смерть и Любовь все еще борются за свою добычу.
Шелли.

Оглядываясь назад на долгие годы или перечитывать анналы Общества, с которым ты был тесно связан, - значит вспоминать о потере многих дорогих товарищей и друзей. Особенно за последнее десятилетие осталось мало семей, которые не стали более тесно ассоциироваться со Смертью; но даже в этом вопросе, похоже, война, далекая от того, чтобы “заставлять людей думать”, все больше и больше отбрасывает их назад, к древним заменителям мысли и к утешениям, которые утешают только тогда, когда их совершенно некритично принимают.

Ибо, хотя непрекращающийся конфликт между смертью и любовью привел на помощь человечеству в этот век, как и во все века, множество утешителей, которые, будь то религией или философией, пролили свет на ужасы могилы, они пока не смогли дать утешения, которого человечество давно искало и все еще ищет. Они заявляют, что устраняют “жало смерти”, но оставляют ее настоящую горечь — разлуку возлюбленного с возлюбленной, друга с другом — неуловимой.

Смерть - вечный враг любви; и именно потому, что она враг любви, а не только потому, что она враг жизни, ее должным и естественным образом боятся. Его жало кроется не в смертности, а в разлуке. Влюбленный, друг, родственник скорбит не потому, что любимый человек смертен, и тем более не потому, что он сам смертен, а потому, что они двое больше не встретятся в том отношении, в котором они находились друг к другу.

Они сказали мне, Гераклит, они сказали мне, что ты мертв.

Они принесли мне горькие новости и горькие слезы, которые я должен был пролить.

Я заплакал, вспомнив, как часто мы с тобой

утомляли солнце разговорами и прогоняли его с небес.

Бесполезно предполагать или утверждать, что дух переходит после смерти в другие сферы деятельности или счастья; ибо, даже если бы были доказательства этого, это никоим образом не уменьшило бы горе тех, кто лишен настоящего. Лукреций давным-давно указал, что даже обновленная физическая жизнь в любом случае будет настолько отличаться от нынешней, что ее нельзя будет справедливо рассматривать как ее продолжение в каком-либо истинном смысле:

И все же, если со временем наш рассеянный прах вновь смешается,
И после смерти плоть снова восстановится -
Да, и свет нашей жизни восстанет вновь зажженным —
Может ли такое новое рождение хоть на йоту коснуться нашего "Я",
Когда некогда мрачная смерть разорвала цепь памяти?[\[45\]](#)

Подобным же образом будущая духовная жизнь никогда не сможет компенсировать отсутствие любви в *этой* жизни; ибо в самой сути любви заключается желание не похожих вещей, не таких же хороших вещей, и даже не лучших вещей, но тех же самых вещей. Как писал Ричард Джеффрис: “Я не хочу перемен; я хочу те же старые и любимые вещи, те же полевые цветы, те же деревья мягкого пепельно-зеленого цвета: горлиц, черных дроздов ... и я хочу, чтобы они были в том же месте”.

И то, что верно для любителя природы, не менее верно и для любителя человека, будь то родитель, или брат, или муж, или друг. Утверждение, что ее разрушение в настоящем может быть компенсировано новыми, но изменившимися условиями в будущем, является не утешением, а насмешкой над такой страстной привязанностью. Признание этой истины можно увидеть в стихотворении Томаса Харди “Он предпочитает Ее земной”:

... Ну, должен ли я сказать это прямо?
Я бы не хотел видеть тебя такой и там,
Но все равно продолжал бы горевать, скучать по тебе, по-прежнему воспринимать
Тебя такой, какой ты была.

Но это, можно сказать, означает восстание любви не только против смерти, но и против самих законов жизни. В подобном осуждении есть доля правды; и мудрее всего тот, кто может настолько примирить свои стремления со своей судьбой, чтобы достаточно познать сладость любви, не испытывая слишком много горечи сожаления. Возможно, в каком-нибудь более справедливом обществе будущего века, когда любовь будет более распространенной, жало смерти будет менее острым; но сколько веков еще должно пройти, прежде чем тот “Золотой город”, о котором пел Джон Барлас, станет реальностью?

Там дух великолепного Платона
Парит, словно голубь,
И все рожденные люди наследуют
Любовь свободную, как боги на небесах;
Там каждый для другого
сестра или брат,
отец или мать,

возлюбленный или возлюбленная.

Между тем может показаться, что для религиозных людей, которые предполагают вечность индивидуальной жизни, мысль о смерти иногда становится менее торжественной, менее священной, чем для тех, кто не верит в сверхъестественное. Легкая уверенность в бессмертии, к которой слишком часто прибегают друзья, пишущие скорбящему письма с соболезнованиями, обычно является признаком не столько сочувствия, сколько его отсутствия; ибо не вызывает сочувствия повторение древних формул перед лицом настоящего и вполне реального горя; более того, во многих случаях это дерзость, когда это делается без какого-либо учета взглядов человека, которому адресовано такое утешение. Среди профессиональных упырей, которые просматривают объявления о смерти в газетах, пожалуй, нет более бессердечных людей — даже среди потенциальных покупателей старой одежды или искусственных зубов, — чем набожные назойливые люди, которые вторгаются в дома скорби со своими пустыми брошюрами. Более того, хуже: в наши дни скорбящим везет, если у кого-нибудь из знакомых-спиритуалистов нет блаженного видения погибшего; ибо умершие, похоже, считаются законной добычей любого, кто видит видения и видит сны и кто полон решимости призвать их в свидетели того, что самые строгие законы природы нереальны:

Суровый закон судьбы каждого смертного;
Который человеку, гордому человеку, трудно выносить,
И он строит себе Не знаю что
Во второй жизни, Не знаю где.

Мэтью Арнольд весьма уместно изложил свой резкий упрек человеческому высокомерию в стихотворении "На могиле собаки"; ибо у человечества нет ни права, ни причины предполагать для себя загробную жизнь, в которой оно отказывает более скромным собратьям, разделяющим, по крайней мере, способность страдать и любить. Может ли кто-либо, не просто варвар, наблюдавший смерть животного, которого он любил и которым он сам был любим с той преданной привязанностью, в которой никогда не отказывают, когда это заслужено, осмелиться усомниться в том, что условия жизни и смерти по существу одинаковы для человека и для нечеловека? Является ли смерть животного хоть на йоту менее болезненным воспоминанием, чем смерть нашего самого дорогого друга-человека? Разве это не должно остаться с нами столь же неизгладимо?

То, что индивидуальная любовь должна возмущаться рабством смерти, может быть неразумным; но бесполезно игнорировать факт такого возмущения или предлагать утешения, которые не могут ни убедить, ни утешить. С самых ранних времен поэты, прежде всего, свидетельствовали о протесте любви. Возможно, самым трогательным лирическим произведением в римской литературе является короткая элегия, написанная Катуллом на могиле своего брата, полная глубокой страсти, которую вряд ли можно передать на другом языке.

Переносимый далеко по многим землям, по многим морям,
На эту печальную службу, брат, я поспешил,
Чтобы воздать тебе последние почести перед смертью,
И поприветствовать, хотя слова тщетны, безмолвных мертвых:

Ибо ты потерян, так велит жестокая судьба;
Ах, брат, с моих глаз ты безвременно скрылся!
И все же примите эти дары, предназначенные в минувшие годы
Для скорбных жертвоприношений при совершении погребальных обрядов;
Примите их, обливаясь братскими слезами:
И так во веки веков — приветствую вас и прощайте!

Подобный крик слышен в том знаменитом отрывке Вергилия, где осиротевший Орфей отказывается от утешения из-за потери своей Эвридики. И почти две тысячи лет спустя мы находим Вордсворта, христианского поэта, повторяющего ту же жалобу:

... Когда я стоял одинокий,
зная, что лучшего сокровища моего сердца больше нет;
Что ни настоящее время, ни нерожденные годы
Не могли вернуть моему взору этот небесный лик.

Обратите внимание на ссылку на “годы нерожденные”. Вордсворт верил в бессмертие; но бессмертие само по себе не может восстановить то, что прошло. Все мудрецы, провидцы и пророки, которые давали человечеству пользу от своей мудрости с момента сотворения мира, до сих пор не смогли обеспечить ни малейшего утешения в связи с разрушительным действием смерти или объяснить, почему любовь должна вечно укрепляться, чтобы быть навсегда разрушенной, и почему за союзом всегда должно следовать разобщение.

Конечно, человечество может найти разгадку этой трагедии в будущем; все, что мы знаем, это то, что до сих пор ни одно человеческое существо не нашло ключа к разгадке тайны, а если и нашло, то не поделилось этим знанием со своими собратьями-смертными. Ибо мы должны отвергнуть как пустое утверждение, что подобные вещи не могут быть переданы словами. Все, что постигается умом, может быть выражено устами — возможно, неадекватно, но все же в какой-то мере выражено, - и причина, по которой этот величайший из секретов никогда не был передан, заключается в том, что до сих пор он так и не был постигнут.

Несомненно, именно отсутствие каких-либо реальных знаний, какого-либо подлинного утешения заставляет человечество искать убежища в более примитивных суевериях. Нет ничего противоестественного в желании чего-то более определенного, более осязаемого; и поэтому люди обращаются к заверениям того, что называется спиритуализмом — отказу верить в то, что смерть в общепринятом смысле вообще имела место. Это верование, по крайней мере, свободно от расплывчатости обычного религиозного взгляда на смерть. Невелико утешение услышать, что потерянный друг сидит преображенный с арфой в руке в каком-нибудь небесном особняке благословенных; но это могло бы смягчить тяжелую утрату некоторых скорбящих (не всех), если бы они поговорили со своим потерянным человеком и узнали, что он существует почти таким же образом и с теми же чувствами, что и раньше. Те, кто “предпочитает его земному”, с меньшей вероятностью разочаруются в спиритуализме, чем в любой другой философии; опасность скорее в том, что они найдут его *слишком* земным - возможно, наслаждающимся сигаретой, как в случае, упомянутом в недавних откровениях духовной жизни. Это буквальность с удвоенной силой; но каким бы нелепым и невероятным это ни было, с точки зрения утешителя, это не лишено смысла; тогда как *is* бессмысленно говорить

скорбющему, что любимый человек не потерян для него, когда все окружение и ткань их любви разрушены.

Значит ли это, что в ожидании более полного знания, которое человечество может получить в будущем, нет настоящего утешения от тирании смерти? Я говорил о поэтах как о поборниках любви против смерти; и, возможно, именно в поэзии, поэзии любви и смерти, можно найти лучшее утешение — в том непредвзятом и вполне рациональном взгляде на борьбу, который не отрицает реальность смерти, но утверждает реальность любви. Забавно слышать, как тех, кто не принимает ортодоксальное вероучение относительно загробной жизни, называют холодными “материалистами” и “скептиками”. Ибо кто писал наиболее возвышенно, наиболее духовно о смерти и великих эмоциях, которые подразумеваются под этим словом, — религиозные деятели и “спиритуалисты”, претендующие на мистическое знание, или великие свободомыслящие поэты, со времен Лукреция до времен Шелли и Джеймса Томсона? Может ли какая-либо “спиритуалистическая” поэзия сравниться с великими возвышенными пассажами из *"О возвращении к природе"* или, говоря о нашем веке, из *"Города ужасной ночи"*?

Следовательно, утешения мы должны искать у поэтов, а не у догматиков; ибо там, где знание все еще недостижимо, устремление мудрее утверждения, а к темесмерти гораздо лучше относиться идеалистически, чем как к вопросу доктрины. В поэзии, как нигде больше, могут быть выражены те разнообразные настроения и полунамеки, в которых самые благородные человеческие умы искали облегчения, сталкиваясь с этой могучей проблемой; и гораздо более успокаивающим, чем любые необоснованные обещания будущего, является очарование, которое ощущается в магии прекрасного стиха. По словам Мильтона:

... Я был весь внимание,
И улавливал звуки, которые могли бы создать душу
Под ребрами смерти.

В настоящее время, когда великая война принесла тяжелую утрату во многие дома, и когда суеверия пожинаят свою жатву среди печальных и разбитых жизней, которые повсюду вокруг нас, что может быть лучше для рациональных людей, чем призвать как можно больше умов от лжеучителей к истинным, от священников, претендующих на знания, которыми они не обладают, к поэтам, в которых, как сказал Шелли, есть “сила передавать и воспринимать глубокие и страстные концепции, касающиеся человека и природы”? И свидетельство поэтов не может быть ошибочным; их первое и последнее слово - Любовь. Будь то Каупер, созерцающий портрет своей матери; или Бернс, оплакивающий свою Хайленд Мэри; или Вордсворт в своих элегиях для Люси; или Шелли в восторге от своего “Адонаиса”; или пессимисты, такие как Эдгар По и Джеймс Томсон, для которых любовь была “единственной звездой света в бесконечном черном отчаянии” — урок, который мы извлекаем из них, один и тот же. Для смерти нет иного утешения, кроме любви; именно к имени любви должно прилепляться человеческое сердце.

Ах! пусть никто другой инопланетянин не произносит “созэр”,
Но там будет только одно имя единственной Надежды,
Не меньше и не больше, но даже одно это слово!

XVII

ТАЛИСМАН

Comprendre c'est Pardonner.—Madame de Staël.

Значит ли это, что мы цивилизованный народ? Неужели современный Человек, все еще живущий кровопролитием, все еще стремящийся разбогатеть за счет своего ближнего, все еще использующий пытки в качестве наказания, все еще ищущий развлечения в разрушении, все еще ведущий братоубийственные войны и, устраивая ад на земле, претендующий на вечный рай после смерти, - достигло ли это эгоистичное, хищническое существо состояния “цивилизации”?

Возможно, можно сказать, что, поскольку идеал всегда опережает действительность и легко показать, что любая современная стадия развития общества далека от того, чем оно могло бы быть и должно быть, различие между дикостью и цивилизацией сводится к названиям. Это, в каком-то смысле, верно; но также верно и то, что имена имеют большое значение как реакция на поведение, и что использование лестных титулов в качестве прикрытия жестоких практик придает постоянство злу, которое в противном случае было бы недопустимо. Наше нынешнее самодовольство тем, что мы с удовольствием называем нашей цивилизацией, является очень серьезным препятствием на пути совершенствования.

Таким образом, эвфемизм играет большую роль в языке; ибо точно так же, как греки использовали благожелательные термины для обозначения злобных сил и таким образом, как они думали, обезоруживали их враждебность, современный ум стремится, сознательно или бессознательно, замаскировать беззакония, неправильно называя их. Таким образом, слепая племенная ненависть может быть замаскирована под “патриотизм”; праздная жизнь за счет работы других называется “независимостью”; вивисекция маскируется под “исследование”; а массовое убийство диких животных для бессмысленного развлечения человека почитается как “спорт”. Несомненно, в именах много добродетели.

Но здесь может быть выдвинуто другое возражение, а именно, что ввиду огромного прогресса, достигнутого человечеством от первобытной дикости к нынешнему сложному социальному состоянию, невозможно применять к высшему человеку то же название, что и к низшему; ибо если мы дикари, то кто такие бушмены или эскимосы?

Лучше пятьдесят лет в Европе, чем цикл в Китае.

Можно усомниться в том, что в последние годы Европа была более приятным жилым районом, чем Китай; но, оставляя это в стороне, не должны ли мы признать, что настоящая культура подразумевает нечто большее, чем материальное и умственное богатство? “Цивилизация, - как недавно сказал один французский писатель, - заключается не в этом ужасном хламе: если она не в сердце человека, то ее нигде нет”.^[46] Легко выделить “этнические периоды”, как это

сделано в "*Древнем обществе*" Моргана, в котором постулируются три фазы — Дикость, варварство и цивилизация — последняя из которых начинается с изобретения фонетического алфавита; но такое определение, когда его подвергают практической проверке, кажется несколько причудливым. Зверь, который мучает или убивает разумного собрата, остается зверем, независимо от того, изобретен Фонетический алфавит или нет. Он не выучил АЗБУКУ цивилизации. Что необходимо для измерения человеческого прогресса, так это стандарт этической, а не этнической утонченности.

То, что человечество уже продвинулось так далеко, является признаком не того, что оно сейчас достигло своего зенита, а того, что ему предстоит продвинуться еще дальше; и это продвижение будет задержано, а не поощрено отказом признать, что физические и интеллектуальные науки намного опередили моральные — что, несмотря на наши разнообразные открытия и достижения, в душе мы все еще варвары.

Таким образом, в этом смысле мы дикари, и осознание этого факта - первый шаг к цивилизации. Есть строчка, которую благочестивые зоофилы любят цитировать спортсменам или другим легкомысленным людям, которые плохо обращаются со своими более скромными собратьями:

Помни, Тот, кто создал тебя, создал животное.

Напоминание полезно, ибо родство слишком часто забывается; но я бы рискнул истолковать этот знаменательный стих в гораздо более буквальном смысле; ибо следует признать, что многие люди, если судить по их действиям, не только *родственны* животным, но и *сами* являются ими. Древнегреческая максима "Познай самого себя" является отправной точкой всей реформации.

Благодаря этому знанию, и только благодаря нему, может прийти терпение, которое прощает, потому что оно полностью понимает: "Понимание - это прощение", несомненно, одно из величайших изречений в мире.

Он прощает всех, кто все может понять.

Нет необходимости искать смягчающие обстоятельства, потому что, как заметил Эрнест Кросби: "Разве факт рождения мужчиной или женщиной не является достаточным смягчающим обстоятельством?" Все объясняется, когда однажды мы довольствуемся тем, что смотрим на наших собратьев и на самих себя как на то, чем мы на самом деле являемся - расу грубых, но не безжалостных варваров, бесконечно медленно переходящих к более гуманному состоянию, и признаем, что если человечество, даже такое, как оно есть, произошло от еще более диких предков, этот факт сам по себе является доказательством того, что прогресс не является полностью химерическим.

Рассматриваемый с точки зрения личного счастья и душевного покоя, вопрос тот же. Какого рода утешения может надеяться чувствительный человек, принимая во внимание огромное количество нищеты и страданий, которые повсюду видны и слышны вокруг нас? Я знаю немало гуманитариев, чья жизнь постоянно омрачается мыслью об ужасной нужде, от которой страдают большие массы человечества, и о не менее ужасных жестокостях, которым подвергаются низшие животные во имя спорта, науки и моды. Как могут чувствительные и

сочувствующие умы забыть о потере счастья других людей в их собственной культуре, особенно если они осознали, что немалая доля их благополучия проистекает из тяжелого труда их собратьев?

Здесь, опять же, можно найти некоторое утешение, если мы посмотрим на проблему с менее оптимистичной и, следовательно, менее требовательной точки зрения. Люди часто с негодованием спрашивают, ссылаясь на какой-нибудь жестокий поступок или обычай, живем ли мы “в эпоху цивилизации или дикости”, подразумевая, что в эпоху высочайшей и благороднейшей цивилизации, какой считается наша, некоторые необъяснимо варварские личности опускаются до недостойной практики. Не разумнее ли и не способствует ли душевному спокойствию человека изменить это предположение и начать с откровенного признания того, что нынешняя эпоха, несмотря на ее огромное механическое совершенство, является, с этической точки зрения, эпохой позитивного варварства, не такого, конечно, дикого, как некоторые из предшествовавших ей, но все же бесспорно дикой по сравнению с тем, что мы предвидим в цивилизованном будущем?

Рассматриваемые в этом более скромном свете, многие обычаи, которые, будь они распространены в цивилизованной стране, вполне могли бы привести человечество в отчаяние, рассматриваются как, подобно преступлениям детей, симптомы бездумного младенчества нашей расы. Мы не цивилизованный народ, выродившийся в монстров, а неукротимые дикари, которые в целом демонстрируют себя довольно достойно и, возможно, в будущие столетия станут цивилизованными.

Например, когда кто—то встречает группу “спортсменов”, направляющихся с лошадьми и гончими, чтобы со всеми проявлениями варварства забить до смерти какое—нибудь жалкое маленькое животное, которое они на самом деле вывели, или “сохранили”, или импортировали для этой цели, такое зрелище - если рассматривать их как разумных и цивилизованных существ - вполне может омрачить его счастье надве недели. Но если мы встанем на более низкую позицию и увидим в них не более чем рослых варваров, занятых одним из национальных развлечений тех “темных веков”, в которые мы живем, взгляд сразу станет более жизнерадостным; и вместо того, чтобы удивляться, что леди и джентльмены двадцатого века желают “загнать” лису, мы сможем распознать умеренность и вежливость, с которыми они ведут себя в других отношениях.

По крайней мере, одно преимущество могут извлечь гуманитарии из нынешнего положения дел — более точное представление о препятствиях, с которыми сталкиваются их надежды. Много было сказано и написано о причинах войны; и неизбежно, что *непосредственные* причины (поскольку обсуждаются только они) должны быть тщательно исследованы. Но более глубокие причины, лежащие в основе недавней войны, как и любой другой войны, — это не те, которые интересуют дипломатов, политиков, журналистов и историков: их следует искать в том бессердечном и эгоистичном образе мышления, который присущ всем расам и как таковой принимается бездумно и передается от одного поколения к другому, который проявляется не только в войне, но и во множестве других форм варварства, наблюдаемых в так называемой цивилизованной жизни.

Ни Лига Наций, ни отдельные лица не могут помочь без изменения взглядов. Реформаторы всех классов должны признать, что бесполезно проповедовать мир сам по себе, или социализм сам по себе, или антививисекцию сам по себе, или вегетарианство сам по себе, или доброту к

животным сам по себе. Причина всех без исключения зол, обрушивающихся на мир, одна и та же — общий недостаток человечности, недостаток знания о том, что вся разумная жизнь сродни друг другу и что тот, кто причиняет вред ближнему, на самом деле причиняет вред самому себе. Перспективы более счастливого общества заключены в этой презируемой и заброшенной истине, само утверждение которой в настоящее время должно (я хорошо знаю) казаться смешным признанным наставникам народа.

Единственный талисман - это Любовь. Необходимо выполнять активную работу, но если мы хотим достичь своей цели, то делать это нужно в духе любви. Возможно, самым значительным симптомом жестокости, вызванной военной лихорадкой, была абсолютная неспособность, которую демонстрировали многие христиане, не только выполнять такие предписания, как “Любите своих врагов”, но даже понимать их.^[47] Если бы юмор, как и человечность, не был погружен на глубину нескольких саженей в океан глупости, возникло бы искушение процитировать восхитительные строки Эрнеста Кросби о “Любви к угнетателям”:

Любите угнетателей и тиранов:
это единственный способ избавиться от них!

В наши дни, когда голос ненависти и недоброжелательства так доминирует, радостно обращаться к страницам авторов, провозглашающих более мудрую веру. “Это серый мир”, - говорит Говард Мур. “В этом достаточно горя, даже если мы перестанем бичевать друг друга — горя от наводнений, голода, пожаров, землетрясений, штормов, болезней и смерти. Мы должны доверять друг другу, и любить друг друга, и сочувствовать, и помогать друг другу, и быть терпеливыми и всепрощающими”. И не только человек заслуживает нашего сочувствия; ибо разве Пьер Лоти в своей *Книге жалости и смерти* не представляет, как даже его бездомный китайский кот, с которым он подружился на борту корабля, обращается к нему с подобными словами: “В этот осенний день, такой печальный для кошачьего сердца, поскольку мы здесь вместе, оба изолированных существа ... предположим, мы дарим друг другу немного той доброты, которая смягчает неприятности, которая напоминает нематериальное и бросает вызов смерти, которая называется привязанностью и которая время от времени выражается лаской”.

Разве в этом рассеянном мире не было достаточно, и более чем достаточно, зависти и доносов? Не пора ли нам попробовать вместо них эффект, скажем, бомбардировки благословениями? Если существуют волны света, тепла, звука, то не могут ли быть также волны любви? Что, если бы мы ежедневно отправляли их в самые отдаленные уголки земли? Благословение произносится так же легко, как и проклятие, и для его произнесения не нужен священник. По крайней мере, приятно думать (а люди верят в вероучения, которые гораздо менее правдоподобны), что нежные мысли, “беспроводная связь” сердца, могут проникать и улавливаться в регионах, недоступных нашему пониманию, и таким образом создавать более благоприятную атмосферу для нежных поступков. “Почему никто из них не сказал мне,” спрашивает Кросби, “что моя душа была машиной для любви?” Конечно, странно, что мы прикладываем гораздо больше усилий, чтобы разжечь огонь ненависти, чем огонь любви.

“Безграничное сострадание ко всем живым существам,” говорит Шопенгауэр, - является самой надежной гарантией чистого морального поведения и не нуждается в казуистике. Тот, кто наполнен этим, несомненно, никому не причинит вреда, никому не причинит вреда, не посягнет ни на чьи права; он скорее будет уважать каждого, прощать каждого, помогать каждому,

насколько он может, и все его действия будут носить печать справедливости и любящей доброты ”.[48] Между прочим, можно заметить, что, как указывает Шопенгауэр, трудности так называемого полового вопроса в значительной степени были бы решены, если бы в это правило “никому не причинять вреда” более полно верили и действовали.

Урок последних шести лет таков. Бесполезно надеяться, что война, которая является лишь одним из многих пережитков дикости, может быть отменена, пока разум человека не очеловечится и в других отношениях — пока, по крайней мере, все пережитки дикости не будут показаны в их истинном свете. До тех пор, пока человек убивает низшие расы ради еды или спорта, он будет готов убить свою собственную расу из вражды. Должно прекратиться не *это* или *то* кровопролитие, а все ненужное кровопролитие — всякое бессмысленное причинение боли или смерти нашим ближним. Только когда среди нас будет осознано великое чувство всеобщего родства, любовь изгонит ненависть, и для мира станет невозможным вновь стать свидетелем бессмысленных ужасов, которые позорят Европу сегодня.

Таким образом, гуманитарии должны ожидать немногого, но требовать многого; должны знать, что они не увидят настоящих плодов своих трудов, но, тем не менее, их труды имеют далеко идущее значение. Пусть те, кто пришел в ужас от зрелища жестокой войны, решат поддержать движение за мир более решительно, чем когда-либо; но пусть они также поддержат еще более широкое и глубокое гуманитарное движение, частью которого пацифизм является лишь отчасти, поскольку все гуманные дела, хотя и кажутся отдельными, в конечном счете и по сути едины.

ПОСТСКРИПТУМ

При подготовке этой книги я использовал содержание нескольких статей, которые впервые появились в *Humanary Review*, *Humanitarian*, *Literary Guide*, Ежегоднике Ассоциации рационалистической прессы, *Vegetarian Messenger* или в других изданиях. Подтверждение некоторых других обязательств содержится в сносках.

Напечатано в Великобритании компанией UNWIN BROTHERS, LIMITED
В УОКИНГЕ И ЛОНДОНЕ

Работы Генри С. Солта

Повальное увлечение поркой Изложение аргументов против телесных наказаний

С предисловием сэра ДЖОРДЖА ГРИНВУДА. 3с. 6л. нетто.

Политическое правосудие Годвина Перепечатка Эссе
о собственности
под редакцией Генри С. СОЛТА. 3с. 6д. нетто.
George Allen & Unwin Ltd.

Сокровища Лукреция (Переводы) 1с. 6д. нетто.

Жизнь Джеймса Томсона ("Б.В.")
Исправленное издание 2с. 6д. нетто.
Watts & Co.

Жизнь Генри Дэвида Торо 1с. 6г. нетто.
Второе издание

Песни свободы 1с. 6д. нетто.
Под редакцией Генри С. СОЛТА.
Издательство Вальтера Скотта

Ричард Джеффрис: Его жизнь и его идеалы 1с. 6д. нетто.

Итон под руководством Хорнби 2с. 6д. и 1с. 4д.

Теннисон как мыслитель 6д.
Великие писатели А. К. Файфилда

Де Квинси
Белла. Краткие монографии. 1с. 6д. нетто.

Права животных
Пересмотренное издание 1с. 6г.

Логика вегетарианства 6г.

Убийство ради спорта Эссе разных писателей *1 серия*.
С предисловием Г. Бернарда Шоу. Под редакцией Генри С. СОЛТА.
Компания G. Bell & Sons Ltd.

Пророк Раскин
и другие исследования к столетию ДЖОНА МЕЙСФИЛДА, ДИНА ИНГЕ,
К. Ф. Г. МАСТЕРМАНА и других
Под редакцией Дж. ГОВАРДА УАЙТХАУСА

Дем. 8во. 8с. 6д. нетто.

Важная и авторитетная книга о Раскине, содержащая критические оценки и эссе Джона Мейсфилда, Дина Инге, Дж. А. Хобсона, Чарльза Мастермана, Х. В. Невинсона, Лоуренса Биньона и редактора Говарда Уайтхауса. Среди рассматриваемых тем - влияние Раскина на современную жизнь, его социальное и экономическое учение, его отношение к Платону и многие другие аспекты его учения и влияния. Книга станет достойным дополнением к замечательной выставке рисунков Раскина, недавно состоявшейся в Королевской академии.

Урожай Раскина

Директор школы ДЖОН У. ГРЭМ, магистр искусств

Кр. 8во. 7с. 6д. нетто.

Критическая, но сочувственная оценка конечного результата преподавания Раскина в областях экономики и социальных реформ, образования и религии, рассмотренная в свете нынешней ситуации между капиталом и трудом, пропаганды цехового социализма и широко распространенного беспокойства по поводу религии.

Языческие и христианские верования

Их происхождение и значение

Дем. 8во. Автор: ЭДВАРД КАРПЕНТЕР 10с. 6д. нет.

“Великолепная теория, и мистер Карпентер излагает ее с заразительным энтузиазмом ... как и вся работа этого писателя—ветерана, это искренний вклад в мировой запас знаний”. - *Daily Chronicle*.

“ ... Гений, который является одновременно научным и художественным, философским и поэтическим. Такой гений видит и дает читателю видения”. —*Наблюдатель*.

Создание человечества

Дем. 8во. РОБЕРТ С. БРИФФО 12с. 6д. нет.

“Удивительная книга ... демонстрация силы в быстром изложении истории. Виртуозный анализ человеческого прогресса. Мы надеемся, что демократия изучит эту смелую и блестящую книгу”. — *Английское обозрение*.

История социального
развития

Д-р
Ф. МЮЛЛЕР-ЛАЙЕР

Перевод ЭЛИЗАБЕТ КУТ ЛЕЙК и Х. А. ЛЕЙК, B.Sc. (Экономика) Со вступлением профессоров Л. Т. Хобхауса и Э. Дж. УРВИКА

Дем. 8vo. 18с. нетто.

Этот перевод знаменитой книги доктора Ф. Мюллер-Лайер “Фазен дер культура” понравится всем, кто интересуется проблемами труда в настоящее время. Он содержит серию исследований различных экономических явлений современности, описывающих постепенную эволюцию каждого из них с древнейших времен, с указанием вероятной тенденции будущего развития. Взаимосвязь различных условий, описанных таким образом, хорошо проиллюстрирована, и каждая глава заканчивается кратким изложением ее предмета. Отчеты о различных стадиях производства продуктов питания, одежды, жилья и использования орудий труда содержат в краткой и доступной для чтения форме результаты исследований прошлого столетия, и часть III, “История эволюции труда”, будет прочитана с особым интересом.

Опасности богатства и
Бедности

КАНОНИК С. А. БАРНЕТТ,
магистр, Д.К.Л.

Под редакцией преподобного В. А. БОЙЛА, магистра медицины, С Предисловием миссис С. А. БАРНЕТТ, К.Б.Н.

Cr. 8vo. 2s. 6d. нет.

Каноник Барнетт был таким внимательным исследователем социальных условий и таким здравомыслящим идеалистом, что эта небольшая книга (которую он писал незадолго до своей последней болезни) будет интересна всем, кто думает и желает общего блага.

Болезнь стяжательского
общества

Р. Х. ТОУНИ

Кр. 8в. Второе впечатление 2s. нет.

В этой брошюре автор анализирует причины нынешнего недовольства, которое беспокоит современное общество, и прослеживает их происхождение до отделения прав собственности от социальных обязанностей.

Сотрудничество и будущее
промышленности

ЛЕОНАРД С. ВУЛФ

Cr. 8vo. Второе издание 5s. нет.

“Книга огромной непосредственной и практической важности. Каждому, кто желает промышленной реконструкции, не мешало бы овладеть ею”. —*Вестник*.

Правительство и промышленность

К. ДЕЛАЙЛ БЕРНС

Автор книги “Политические идеалы”

Дем. 8во. Около 16с. нетто.

Это описание существующих отношений между британским правительством и промышленной системой. Показано, что нынешние тенденции указывают на формирование организованного “экономического” сообщества, основанного на государственной организации, но отличного от нее. Доминирующей концепцией, действующей в этом экономическом сообществе, является концепция государственной службы. Теория, изложенная в книге, однако, подчинена описанию реальных фактов — административного подхода к условиям труда, безработице, торговле и финансам, которые будут признаны ценными даже теми, кто не согласен с теорией, поскольку это единственное описание, охватывающее современное послевоенное управление.

Проблемы нового мира

Дж. А. ХОБСОН

Кр. 8во. 7с. 6д. нетто.

События последних нескольких лет потрясли наши политические и экономические системы до основания. Старых гарантий порядка и прогресса больше недостаточно. Проблемы 1920 года - это не проблемы 1914 года. Изменилась сама природа человека как действующей силы.

В этих главах обсуждаются откровения и описываются новые идеалы, которые из всех сил пытаются реализовать себя в новой отрасли, новом государстве и новом мировом порядке.

Чего хотят рабочие

Исследование британского труда

АРТУРА ГЛИСОНА

Дем. 8во. Около 16с. нетто.

Отчет о целях и достижениях британских лейбористов, результат пятилетнего непрерывного изучения условий труда. В ней рассказывается о том, чего хотят рабочие, кто их лидеры, что означают забастовки, чего рабочие добились и к чему они стремятся. Есть главы, написанные господами Дж. Смилли, Фрэнка Ходжеса, К. Т. Крэмпса и других; а в приложении собраны все важные документы промышленной революции.

ДОМ РАСКИНА, МУЗЕЙНАЯ УЛИЦА, 40, WC 1.

СНОСКИ:

- [1] В статье, опубликованной в журнале *Macmillan's Magazine*, декабрь 1887 г., я затронул тему стихотворений Молтри.
- [2] Статья “Итон как он есть” в “*Авантюристе*”, № 23, издательства “Э. Г. Р.” (Г. К. Маколей).
- [3] Доктор Литтелтон, когда был директором Итона, заменил березу тростью в Старшей школе.
- [4] Из главы “Автор *Ionica*”, в *Итоне под руководством Хорнби*.
- [5] Смотрите “*Семь лет в Итоне*” Бринсли Ричардса.
- [6] Статья без подписи появилась в № 23.
- [7] *Авантюрист*, № 20.
- [8] Смотрите заключительную статью “*Valete Etonenses*”, № 29.
- [9] Этот инцидент является хорошим примером того, как часто упускается из виду реальная этика питания, в то время как акцент делается на каком-то совершенно незначительном и второстепенном ее аспекте.
- [10] Я не знал, что эти строки появились в печати, пока они не были процитированы сэром Эдвардом Куком в его *Других литературных произведениях*, 1919. Моя версия их немного отличается от его; но я думаю, что моим воспоминаниям можно доверять.
- [11] “*Мои дни и мечты*”, Эдвард Карпентер, 1916.
- [12] Два года, отведенных для вегетарианства, теперь превратились в сорок, и все они - годы напряженной работы.
- [13] “Наша конкурентоспособная система промышленности является рудиментарным институтом. Это пережиток воинственных эпох прошлого.... Это система каннибализма. Вместо того чтобы прививать чувство братства, это вынуждает нас есть друг друга”. — “*Дикие пережитки*”, Дж. Говард Мур, 1916.
- [14] С момента написания вышеизложенного декан Инге добавил свое имя в список выдающихся. Кстати, не пора ли кому—нибудь собрать золотые изречения Мрачного декана в книгу - возможно, под названием “*Слитки*”?
- [15] Статья “Возникновение разумных существ”, *Этический мир*, 7 мая 1898г.
- [16] *Pall Mall Gazette*, 28 апреля 1888г.
- [17] *Farnham Herald*, 16 сентября 1899г.
- [18] *Странствия*: отчет о приключениях и освобождении в жизни Духа, 1918.
- [19] *Академия*, 15 октября 1898 г.

[20] Суть того, что здесь сказано о Фрэнсисе Адамсе, взята из моего редакционного примечания к исправленному изданию "*Песен армии ночи*", опубликованному мистером А. К. Файфилдом в 1910 году.

[21] *De Rerum Naturâ*, iii. 9-13, как переведено в "*Сокровищах Лукреция*".

[22] Примечательно, что заголовок строк Эдварда Карпентера, обращенных к Шелли: "Мертвому поэту", в более поздних изданиях "*К демократии*" стал "Тому, кто там, где Вечные".

[23] *Сонет к Шелли*, Н. Дуглас Дьючар.

[24] Из письма о "Суинберне в Итоне", *Литературное приложение Times*, 25 декабря 1919г.

[25] Утверждение, сделанное в "*Записях полной приключений жизни*" г-на Х. М. Хайндмана (1911), что вегетарианство Мередита "чуть не привело его к смерти", и что он сам "признал правду", а именно. то, что мясная пища необходима тем, кто работает не только телом, но и разумом, прямо противоречит тому, что сам Мередит сказал мне двадцатью годами позже даты рассматриваемого эксперимента.

[26] Здесь, возможно, мне лучше сказать, что моя собственная работа для Лиги, хотя в основном частная и анонимная, продолжалась в течение двадцати девяти лет существования Лиги; так что, описывая различные аспекты движения, я опираюсь на то, что знаю. Высказанные мнения, конечно, носят исключительно личный характер, как и в замечаниях о войне (*глава XV*).

[27] *Daily News*, 10 апреля 1906г.

[28] *Daily News*, 6 июня 1908г.

[29] *Таймс*, 11 и 26 декабря 1902г.

[30]

Тогда пожалуйста розгу и избалуйте ребенка.

Худибрас, Часть II, песнь 1, 844.

[31] Мистер Дж. Ф. П. Роулинсон, в Палате общин, 1 ноября 1912г.

[32] Лондон: George Allen & Unwin, Ltd.

[33] *Исповедь врача*, перевод Симеона Линдена, стр. 158, 159.

[34] Член парламента, который отвечал за законопроект о спорте, однажды умолял нас не отменять Buckhounds, потому что, по его словам, они были отличным стимулом для голосования за законопроект.

[35] Смотрите описание Диккенса, "*Жизнь Диккенса*" Форстера, iii. 146.

[36] Несколько лет спустя любезность владельца позволила мне посетить вершину Киндерскаута морозным декабрьским днем, когда она имела вид огромного заснеженного плато, пересеченного глубокими колеями и кое-где перемежающегося черной каменной кладкой холмов.

[37] Я включил сюда содержание письма о “Сохранении горных пейзажей”, опубликованного в “Таймс” от 28 апреля 1908 года.

[38] *Еженедельные новости Северного Уэльса*, 15 мая 1908г.

[39] *О кембрии и Камбрийских холмах*.

[40] Charles H. Kerr & Co., Чикаго, 1916; Watts & Co., Лондон, 1918.

[41] Смотрите выступление доктора Л. Джонса на тему “Война и сублимация” в разделе “Психология” на собраниях Британской ассоциации 11 сентября 1915 г. На войне, указывал он, проявляются импульсы, которых, по-видимому, не существовало в мирное время, за исключением преступных классов. Примитивные тенденции никогда не исчезали из существования; они исчезли из поля зрения только потому, что были подавлены и похоронены в бессознательном уме.

[42] Ср. “Папина война и другие сатиры” мистера Эдварда Гарнетта, Джордж Аллен и Анвин, Л.Д., 1918.

[43] “Нам говорили, что война должна была положить конец войне, но это было не так: этого не было и не могло быть”. Так сказал фельдмаршал сэр Генри Уилсон 18 мая 1920 года; с этого момента больше не было необходимости поддерживать иллюзию.

[44] Если и существовали какие—либо сомнения относительно национальной бесчувственности, вызванной войной, то они должны были быть рассеяны сравнительным безразличием, с которым в этой стране было воспринято известие о резне в Амритсаре — более ужасном зверстве, чем любое из тех, за которые несли ответственность немецкие командиры.

[45] *О природе*, iii, 847-850, как переведено в “Сокровищах Лукреция”.

[46] *Цивилизация*, Джордж Дюамель. Перевод Т. П. Конвил-Эванса.

[47] Я слышал, как один дербиширский егерь на самом деле процитировал “Месть моя; Я воздам, говорит Господь”, как будто это было предписание праведникам следовать примеру мстительного Божества.

[48] *Основа морали*. Переведено Артуром Бродриком Баллоком, 1903 (George Allen and Unwin, Ltd.).

Типографские ошибки, исправленные переписчиком etext:

для того, как тогда было бы получить => для того, как тогда он получил бы {стр. 184}

Лондонскую и северо-западную железную дорогу в Лланбере, Англия => Лондонскую и северо-западную железную дорогу в Лланберисе, Англия {стр. 195}
